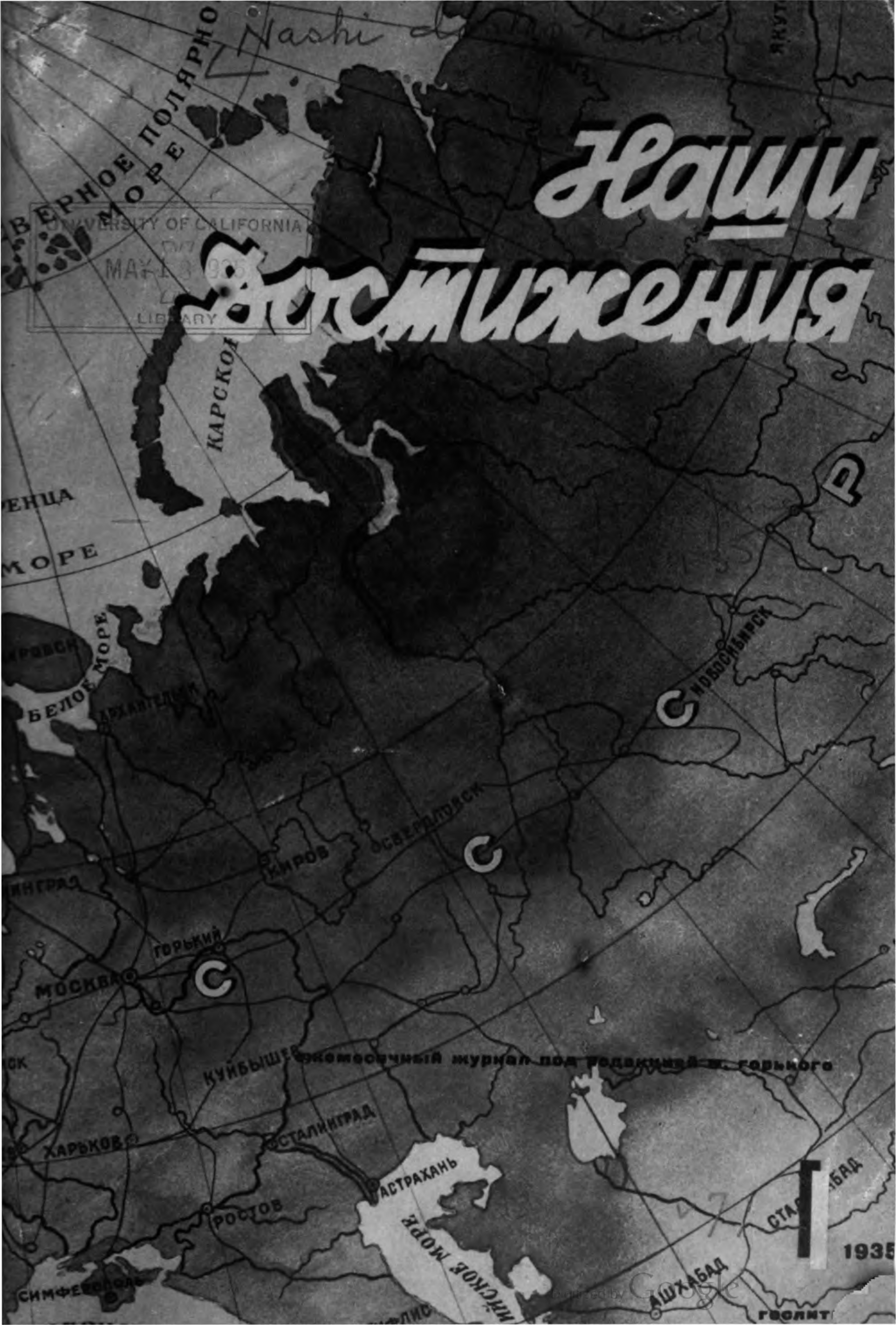

Наши
достижения
журнал под редакцией М. Горького
1
1935
БЕЛОЕ МОРЕ
КАРСКОЕ
МОРЕ
КИРОВ
СВЕРДЛОВСК
НОВОСИБИРСК
ГОРЬКИЙ
МОСКВА
КУЙБЫШЕВ
СТАЛИНГРАД
ХАРЬКОВ
РОСТОВ
АСТРАХАНЬ
АШХАБАД

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОЧЕРКА
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
М. ГОРЬКОГО

ЯНВАРЬ
1935

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
МОСКВА

Валериан Владимирович Куйбышев

Валериан Владимирович Куйбышев

Еще одну тяжелую потерю понесли партия, рабочий класс и все трудящиеся Советского Союза и всего мира. 25-го января скончался от склероза сердца Валериан Владимирович Куйбышев—член Политбюро ЦК ВКП(б), первый заместитель председателя Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны и председатель Комиссии советского контроля.

Умер — на боевом посту, неутомимый боец за генеральную линию партии, верный соратник и ученик Сталина.

Партийное подполье царской России воспитало старую гвардию большевиков и в ее рядах — Куйбышева. Более тридцати лет он рос вместе с партией, развивая настойчивую волю строителя социализма. Великое счастье — создавать план реконструкции социалистической страны, быть руководителем огромных работ по планированию пятилетки социалистического наступления, это великое счастье по праву принадлежало Валериану Владимировичу. В борьбе за власть пролетариата — в Харькове, Петербурге и Омске, в огне гражданской войны,— в боях под Казанью, на Урале и на туркестанских фронтах, в овладении хозяйственным плацдармом страны, в непримиримой борьбе со всеми и всяческими антиленинскими группировками был выделен Куйбышев, как один из лучших сынов партии, как талантливый большевистский государственный деятель. Он возглавлял штаб советской индустрии в период борьбы за первую пятилетку; он руководил сложным делом составления второго пятилетнего плана великих работ.

Реорганизатор государственного аппарата, руководитель Комиссии советского контроля, организатор героической эпопеи спасения челюскинцев, основной докладчик правительства на ряде съездов — таким останется в памяти трудящихся масс горячо любимый ими облик тов. Куйбышева.

Его усилия материализованы в великих достижениях социалистической стройки; в размахе его работы воплотились вся страсть и величие нашей эпохи.

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

№ 272 (6158). 2 октября 1934 г., вторник. Цена 10 коп.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Новый год партийной учебы.

Манчжурские власти пытаются отрицать разоблаченные факты пыток над советским гражданином Шабалинским.

Сторож КВЖД предотвратил крушение.

Японо-манчжурские власти жалуются на неблагодарность белогвардейцев.

Муссолини о франко-итальянском сближении.

Проба сил во Франции.

Правительственный кризис в Румынии.

Прием турецкого посла тов. В. М. Молотовым.

Совхозы Главсахара выполнили план хлебосдачи.

Ивановская область выполнила годовой план хлебосдачи.

Открытие опытной шахты им. Кирова на сланцевых разработках.

Обмен телеграммами между Советским и Японским обществами Красного Креста.

Со всех концов Советского Союза.

Ударники Балахны с честью выполнили свое обязательство.

Самородок золота в 6 килограммов.

Сдан в эксплуатацию новый перегон магистрали Москва—Донбасс.

Первенец будущего города.

Новые выходы нефти в районе Грозного.

Авиасообщение на Крайнем Севере.

53 млн рублей на благоустройство городов.

Беломорско-Балтийский водный путь.

Радиотелефон Москва—Алма-Ата.

Через океан на буксирах.

«Красная книга» им. Всебелорусского и Всесоюзного съездов советов.

В тот момент, когда на башне Спасских ворот Кремля бьет двенадцать, на западной границе Союза советских социалистических республик еще одиннадцать часов, на востоке — десять часов утра следующего дня.

Год тысяча девятьсот тридцать четвертый.

Наступает второе октября.

На Кавказском побережье заканчивается сбор чая и табака, начинается массовый сбор винограда, в устье Лены, замерзшем в этот день, прекращается навигация. В Термезе и Ашхабаде двадцатипятиградусная жара, на Северной Земле — двадцатиградусный мороз, приближается полярная ночь.

Пространства страны огромны. Курьерский поезд, отправляемый из Батума во Владивосток, должен мчаться две недели, чтобы преодолеть расстояние между этими городами, лежащими на одной параллели.

Наступает второе октября.

Когда-нибудь, много лет спустя, мы узнаем, какие дипломатические интриги плелись в этот день, что готовилось и назревало за рубежом в министерствах и генеральных штабах. Сегодня, для нас — это обыкновеннейший деловой день страны, не сотрясаемый никакими исключительными международными и внутренними событиями.

Сто семьдесят миллионов людей населяют страну в этот день. В стране живут коммунисты, комсомольцы, ударники. Но в ней живут еще в этот день и пьяницы, и лодыри, и вредители, и кулаки.

В стране — множество социалистических городов, новейшие заводы, прекрасные здания, ясли, детские сады, общественное питание. На хлеб еще отпускают по карточкам. Но еще не уничтожены скученность в жилищах, грязь, клопы и болезни.

В этот день страна готовится к перевыборам советов, выплавляет тридцать тысяч тонн чугуна и двадцать восемь тысяч тонн стали, призывает в армию поколение 1912 года, добывает двести пятьдесят пять тысяч тонн угля, погружает и разгружает на своих железных дорогах пятьдесят семь тысяч вагонов, выпускает триста сорок тракторов и двести тридцать автомобилей, ссыпает в элеваторы новый урожай и охраняет свои границы.

Во всем мире «Правду» называют «Правдой». Названия газет не переводятся на другие языки.

Иностранец, путешествовавший по СССР, спросил, что значит это слово. Ему перевели: «Так п р о с т о?..» — удивился он. И, подумав, добавил: «И так в е л и ч е с т в е н н о»...

И вот каждый день это простое и великое слово приходит к миллионам людей. За утренним чаем и в обеденный перерыв, в трамвае и на борту самолета, под солнцем Кавказа и в снегах Сибири жители страны узнают п р а в д у этого дня. Читатели «Правды», они слышат ровное, неколебимое дыхание страны, подчиненной единой цели, воле и плану, страны н о в о й и о б н о в л я е м о й ежедневно.

Второе октября.

В Перми, на Камском бумажном комбинате заложен н о в ы й социалистический город. В Грозном обнаружены н о в ы е выходы нефти. Сдан в эксплоатацию н о в ы й перегон магистрали Москва—Донбасс. Открыта н о в а я шахта им.

Кирова на Гдовских сланцевых разработках. Начата подготовка к строительству нового Волго-Балтийского водного пути. Открывается новая радиотелефонная линия Москва—Алма-Ата. Установлены новые авиамаршруты по линии Красноярск—Крайний Север. В Башкирии на Ишимбаевских промыслах открыт новый нефтепровод через реку Белую. На Урале заканчивается строительство новой электрической дороги Свердловск—Гороблагодатская. В самом глухом районе Памира—Бартанге открыта первая, конечно, новая больница.

В мясосовхозе им. Фрунзе (Сталинградский край) открылась опытно-показательная библиотека, в Покровском-Стрешневе — образцовая школа, в Изюме (Харьковской области) — универмаг культурных товаров, в Арзамасе — Педагогический институт... «Первый», «новый», «впервые», «пущен», «открыт», «заложен», «выстроен»...

Хлеб! Маршруты поездов с хлебом пересекают страну. Заканчивается хлебосдача. Совхозы Главсахара и Ивановская область уже выполнили годовой план, но «орский окружком либеральничает с саботажниками хлебосдачи».

Бдительность! Классовый враг активизируется в дни хлебосдачи. «Правда» разоблачает врага в деревне, учит окончательной победе над ним. Колхозный строй торжествует в стране, но последние остатки кулачества еще не добиты.

Скоро зима! Подготовлены ли предприятия и жилища? Директора крупнейших заводов и рудников на страницах «Правды» держат ответ перед всей страной.

В Средней Азии и на Украине продолжается чистка партии. В партийной организации хозотдела Черниговского облисполкома разоблачены жулики. В Самарканде, в комитете охраны памятников старины, чистка обнаружила националистов, бывших чиновников, мулл, офицеров-белогвардейцев. Партия очищает свои ряды. «Правда» пишет об этом.

Приближаются перевыборы советов. Ногинск преображен. Читатель

Утро наркома

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

1906 год
ОКТЯБРЬ
2
ПОНЕДЕЛЬНИК

Суд над Петербургским советом рабочих депутатов.

В старом календаре этого дня записано:

Мученицы Правды-девы.

Преподобных Коприя, Дадима, Епихария.

Обретение мощей святого Акакия.

«Правды» второго октября узнает, что за годы революции в Ногинске созданы водопровод, трамвай, канализация, механическая прачечная, клубы, детские ясли, школы, аптека, хлебозавод, новые жилые дома. Горловский совет — один из лучших в стране — вызывает на соревнование Ярославль, Тулу, Воронеж, Сталино, Калинин, Баку, Прокопьевск, Кадиевку, Саратов.

Начался призыв в Красную армию поколения 1912 года. Вчера в Москве был первый день призыва. Среди призываемых—много ворошиловских стрелков, значкистов, — сообщает «Правда». Есть и такие, что имеют сразу и ворошиловскую звезду и значок «ГТО» и голубой парашютик. У иного на груди даже орден Ленина.

В зарубежной печати продолжаются отклики на всесоюзный съезд писателей и театральный фестиваль. «Правда» перепечатывает часть откликов. Иностранцы поражены силой и ростом советского искусства.

Партком Харьковского тракторного завода созывает конференцию партактива, чтобы обсудить творчество Салтыкова-Щедрина. В Западной Сибири выпущены книги на ойротском, хакасском и шорском языках. Закончились всероссийские шахматно-шашечные состязания. В Киеве выставку живописи «15 лет РККА» посетили 150 тысяч человек. В Цыганском театре «Ромэн» начался сезон. Колхозы Селидовской МТС (Украина), имеющие авиашколу и аэродром, приобрели второй самолет и организуют новую авиашколу.

Новые потребности разбужены революцией у миллионов. Люди, жившие в землянках, носившие лапти, хотят, чтобы их новое благоустроенное жилище и их одежда были красивыми. «Правда» печатает большую статью «О красивой одежде».

Все это в одном номере газеты.

Наконец, на последней странице, рядом с объявлениями театров о новых постановках, несколько извещений о смерти. Один из умерших — старейший швейцарский коммунист, другой — тоже большевик — секретарь райкома, третий — работник театра. Умерли в этот день и многие другие, о которых мы не знаем из газеты.

Но каждый день рождается несколько десятков тысяч людей. Ежедневный прирост населения в стране — 7 800 человек

Кто они, родившиеся сегодня, второго октября? Единицы из них, может, будут гениями, чьи имена навсегда запомнит человечество. Иные могут стать строителями зданий, земледельцами, судоводителями, слесарями, геологами, летчиками, инженерами, хлебопеками, учеными

Кем вырастут люди, родившиеся сегодня? Мы не знаем этого. Но мы знаем, что ни один из них не будет ни эксплоататором, ни безработным, ни тунеядцем. В этом правда нашей борьбы. Эту правду ищем и находим мы ежедневно в каждой строке газеты, носящей простое и великое имя.

Обыкновенному деловому дню страны посвящен этот номер журнала. Жители страны — герои номера в этот день работают, учатся, смеются, отдыхают, любят, надеятся, умирают, рожают детей. Они ведут по стране поезда, суда, автомобили, самолеты, охраняют ее рубежи, строят заводы и дома, копают картошку, делают научные открытия.

Их трудовые усилия многочисленны и одновременны.

Второго октября тридцать четвертого года, в шесть часов утра, когда в Москве еще не забрезжил рассвет и Радиостанция имени Коминтерна передает первый урок гимнастики, — в Дебальцеве, на железнодорожном узле поют рожки стрелочников, лениво дымят паровозы на ве-

ере у депо, грохоча полутысячью колес пробегает первый маршрутный.

В эти минуты в Харькове дежурная по аэропорту будит очередных рейсовых летчиков — пора в полет! Далеко за полярным кругом, на зимовке метеоролог надевает ватный бушлат, меховую шапку, кобуру с наганом — на случай встречи с медведем — и отправляется на наблюдения.

На Средней Волге, в колхозе «Коминтерн» бригадир Адрианов стучит в окна работников своей бригады — подымайтесь! В Туркменистане начальник политотдела Байрам-Алийской МТС Мамед выезжает в колхозы района. Во двор колхоза имени Котовского на Украине вкатывает первый автомобиль с гостями — сегодня колхоз празднует свое десятилетие.

Утро страны продолжается. Начинается день.

В те часы, когда в Москве Шура Туляков собирается в школу, прихлебывая горячий кофе и повторяя немецкие спряжения, — в Нальчике старик-кабардинец, пришедший из аула, объясняет секретарю Бетала Калмыкова.

— Скажи Беталу, я хочу говорить с ним о разных вещах. Зачем? Затем, что умру скоро... Скажи Беталу, хочет с ним старый человек перед своей смертью о делах разговаривать...

День начат и продолжается...

И когда наступает вечер, и в Москве у театра Вахтангова гудят машины, увозящие актеров на спектакль на Электрозаводе, — в Туркменистане Мамед — начальник политотдела МТС—разоблачает колхозного вредителя Дурды-Клыча, — на Дебальцевском узле железнодорожники выбиваются из сил, не желая сдаваться туману, грозящему остановить маневры и закупорить дорогу.

На Урале, в Лысьве, четыре сталевара садятся в автомобиль. Это пятый автомобиль в Лысьве. Первый принадлежит директору, второй — главному инженеру, третий — начальнику мартеновского цеха, четвертый — парткому, пятый — сталевару Правкову. Правков премирован машиной за отличную работу. Сталевары едут на концерт квартета имени Вильома.

Степан Вардин — секретарь горкома в Азово-Черноморском крае выходит в эту минуту на трибуну. Сейчас начнется его чистка. Зал кричит, шумит и аплодирует ему.

В Баку бригадир буровой Иманов уже вернулся домой и, читая газету, засыпает над ней от усталости.

В Старожилове Московской области редактору политотдельской газеты звонят по телефону из Половичей. Остановилась молотилка. В снопе какие-то мерзавцы спрятали гирю.

За полярным кругом, трое зимовщиков вскидывают винтовки, целясь в голову медведя, пришедшего к станции. Медведь падает мертвым.

В Нальчике, из квартиры грузчика Малаева, жена которого родила четверых, выходит Калмыков. Он рассержен. Распоряжение, данное здравотделу об особом уходе за близнецами, не выполнено. Бетал спешит в обком.

В Лысьве в концертном зале поднимается занавес. Четыре сталевара внимательно слушают скрипки Страдивариуса и Руджиери.

И вот кончается вечер и наступает ночь.

В Туркмении полночь. Радио из Моск-

ЕЖЕДНЕВНО страна затрачивает на капитальные работы около **60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ**

Это — половина стоимости всего Днепровского алюминиевого комбината

вы синит десять часов. Начполитотдела Мамед записывает в дневник события дня и запирает тетрадь в стол. Когда он раздевается, ему приходит мысль, что если опубликовать эти записки (а их накопилось пять тетрадей за полтора года), то какой-нибудь ученый, у которого больше свободного времени, сможет написать по ним книгу по истории нового Востока.

В Баку бригадира Иманова будит телефонный звонок из буровой. Авария! Иманов возвращается на вышку.

Арктические зимовщики уже спят. Метеоролог выходит наружу. Ветер усиливается, над тундрой несется поземка. В полярной ночи пылает зеленая дуга северного сияния, поверх этой дуги, протянувшейся с востока на запад, колеблется зеленовато-розовая бахрома.

Адриан Иваныч — бригадир колхоза «Коминтерн» на Средней Волге записывает карандашным огрызком:

«Фторое октября: двенадцать с половиной гектаров зяби, двадцать пять центнеров подсолнуха, четыре гектара картошки. Пшеничку—раз-два—кончу. Штурм— не в плане, ну выход, ежели поставлю бригаду с интересом. Сбегать к трактористам. Сбегаю. Перевезти веялку в кузню. Перевезу».

Из Дебальцевского узла на Воронеж, на Харьков, на Миллерово и Лиски, хлеща дымом и искрами, идут прорвавшиеся сквозь туман тяжелые маршруты.

В Москве двенадцать. Мир слышит в эти минуты по радио Красную площадь, гудки проносящихся по ней автомобилей, бой часов на Спасской башне Кремля, звуки «Интернационала».

Стремительная ночь проносится в этот миг над страной. Она звучит тысячами мембран. Ее покой стерегут. Ее покой рассекают аэропланы, заводы, пожарные команды, поезда, милиционеры, автомобили, почтальоны — медным звоном тревоги, ровным гудом пропеллеров, кряканьем сирен, топотом шеренг, пересвистыванием постовых.

Ночь, разве это время для сна? Это, ведь только третья смена.

Кто из нас не решал «с понедельника начать новую жизнь»? Но наступал понедельник, а жизнь оставалась прежней.

Немногие из нас имеют личный план труда, учебы и отдыха. Мы спешим, мы дорожим временем, но не умеем пользоваться им. Подсчитайте, сколько часов за последнюю неделю вы истратили случайно и бессмысленно, часов, в которые вы ничего не сделали, ничему не научились и не отдохнули?

Лучший ударник может в рабочую смену добыть 20 тонн угля, отштамповать на молоте «Эри» 110 коленчатых валов трактора СТЗ, выткать на восьми станках Жаккарда 176 метров ткани, вспахать на тракторе 3,3 гектара земли [1].

Работал ли ты сегодня так же?

После работы ты мог прочесть хорошую книгу, побывать в театре, кино, на лекции, в парке, библиотеке, доме культуры. Сделал ли ты это?

Что ты сделал сегодня?

---

[1] Дневная выработка лучших ударников страны тт. Изотова (Горловка), Есина (СТЗ), Масленниковой («Трехгорная мануфактура»), Дрыги (Доренбургский совхоз, Днепропетровщина).

урожай дурды-клыча

П. Скосырев

Было десять часов ночи, когда Мамед заснул. Ата-Нияз принес ему три одеяла и прежде, чем постелить их, на кошму положил вторую кошму. Постель получилась очень теплая, и, хотя был октябрь, и стужа каждую ночь шагала из песков вместе с темнотой, Мамеду было очень тепло, и он спал крепко. Проснувшись, он увидел сразу, что проспал. В щели кибитки вместе с холодом сочился рассвет, и Ата-Нияз уже кипятил чай, сидя перед очагом на корточках.

Заседание в политотделе назначено было совсем рано, а до города триддать километров. Мамед заторопился и даже не захотел ждать, когда поспеет чай.

— Извини меня, Ата-Нияз, — сказал он, — я не хочу тебя обидеть, но меня в городе ждут дела, вот, когда колхозы наладят уборку, я обязательно приеду к тебе в гости, и ты угостишь меня и чаем и пловом.

И вышел из кибитки.

— Конечно, — сказал Ата-Нияз, следуя за ним, — у рабочего человека время бежит, как ишак с поклажей, а кончил работу — и время, как ишак, когда с него слез хозяин, идет шагом.

Ата-Нияз был уже не молодой человек и хорошо знал поговорки и пословицы, которые у туркмен сложены относительно всяких случаев жизни. В переводе на наш язык его слова значили:—Вот у тебя много дела, и ты торопишься, а я, Ата-Нияз, свое сделал и теперь могу спокойно пить чай и беседовать с тобой о жизни.

Мамед сел на коня. Ата-Нияз стоял рядом и жал ему руку. Еще не рассвело. но у Мамеда были зоркие глаза, и он видел, что Ата-Ниязу жалко с ним расставаться.

— Ну, прощай, Ата-Нияз, — сказал он, — поедешь в город, заходи. Я буду рад гостю.—И еще он хотел сказать какие-то ласковые слова, потому что действительно любил Ата-Нияза, но тут из кибитки раздался сильный кашель, и Мамед вспомнил, что у Ата-Нияза больная жена. Поэтому он не сказал того, что готов был сказать, а вместо этого спросил:

— А как поживает твоя жена? Я ее давно не видел. Как ее здоровье?

И Ата-Нияз, который называл себя другом Мамеда, вдруг нахмурился, выпустил руку начальника политотдела из своих рук и, не говоря ни слова, стегнул мамедова коня камчой. Потом повернулся и молча пошел в свою кибитку.

Мамед пускал коня то рысью, то шагом. Конь родился в этих самых степях и знал дорогу не хуже, чем вкус соли, которую с испокон веков подсыпают туркмены в лошадиные корма. Мамед мог не опасаться сбиться с пути. А так как он хорошо выспался, день же еще только начинался, то голова его была совсем свежая, и многие мысли рождались в ней. И он не отгонял их, как это делал всегда, когда был занят хозяйственными заботами и делами.

— Нескладный я задал вопрос,—думал Мамед,—конечно, Ата-Нияз свой человек и даже подал заявление в партию, и колхоз его самый передовой колхоз, и в отряде краснопалочников он храбро сражался против басмачей, но он же, туркмен и уже немолодой человек. А какой туркмен потерпит, чтобы посторонний мужчина интересовался здоровьем его жены. Ата-Нияз только рассердился и ударил камчой коня; другой бы на его месте мог ударить и самого Мамеда. И тут Мамед вспомнил, что сказал ему секретарь колхоза «Звезда Востока» Аман-Чары в ответ на такой же вопрос. Аман-Чары сказал тогда:

— А тебе какое дело до моей жены? Или ты спал с ней вместе, что спрашиваешь, как ее здоровье?

Старый аул еще крепко цепляется за чувства колхозников. Вот уже подходит к половине и вторая пятилетка, а дехкане все еще готовы принести в жертву традициям и свои общественные интересы и даже дружбу.

Думать об этом Мамеду было грустно. День же разгорался сухой и веселый, и

поэтому мысли его потекли в другую сторону. «Полтора года уже миновало, как он сменил аудитории КУТВа в Москве на хлопковые поля Туркмении. Бывшие товарищи его вероятно уже ведут самостоятельную научную работу; а его диссертация так и лежит на письменном столе, все в том же виде, что и полтора года назад. Каждое утро он достает ее из ящика и кладет на стол, и каждую ночь прячет в ящик нетронутой. Правда, время не шло зря. Политотдел добился многого. Полтора года назад колхозники только и смотрели, как бы убежать из колхоза, лодырничали и пускались на хитрости, чтобы отлынить от работы, а теперь даже женщины наравне с мужчинами выходят в поле, и никто своей волей не согласится снова стать единоличником.

Теперь можно будет возобновить и научную работу. Сегодня, например, день не очень занятый. Заседание окончится к одиннадцати, в двенадцать он пойдет на вокзал встретить наркомзема, который возвращается из Москвы в Ашхабад, передаст ему последние сводки и никуда больше не поедет, снимет телефон, велит жене не пускать никого и заново продумает тезисы рукописи.

Разгоряченный такими мыслями, он стал настегивать коня, торопя его в город.

О случае с Ата-Ниязом он уже забыл, или, во всяком случае, уверил себя, что забыл.

Но, видимо, нынешний день с самого утра взялся приносить ему огорчения. До города уже оставалось каких-нибудь десять километров, как в стороне показались кибитки колхоза «Тезе Шарк», что значит по-русски «Новый Восток». Колхоз этот был ближе других к городу, работа в нем шла успешно, и у работников района было в обычае ставить его в пример другим колхозам. Правда, летом «Тезе Шарк» отстал было с поливом, но потом подтянулся и, хотя на первое место претендовать не мог, все же считался одним из самых крепких колхозов.

Вчера, когда Мамед выезжал к Ата-Ниязу, в «Тезе Шарк» отправился его русский заместитель Соколов. И Мамед подумал, что, может быть, Соколов еще тут; тогда в город они вернутся вместе. Он повернул коня и рысью поехал в кибитке председателя.

Ребята, игравшие подле арыка, закричали: «Мамед, Мамед!» и кинулись догонять его. Но время у начальника политотдела было в обрез; поэтому он не задерживался и не взял никого из ребят к себе на седло.

Председатель колхоза Ораз Берды, заслышав, что кто-то едет, вышел из кибитки и, узнав начальника политотдела, поспешил к нему навстречу.

— Ну, как, Ораз, — закричал Мамед, не слезая с седла. — Тебя можно поздравить. На работу все вышли, — и женщины, и подростки? А Соколов уехал?

— Все на работе, — и женщины и подростки. А Соколов уехал. Кончим уборку в срок, — сказал Ораз и не улыбнулся, хотя раз уборка шла успешно, у председателя были все основания для улыбки широкой и довольной.

— Очень рад, поздравляю, — повторил Мамед. — Значит, идет дело. Мы и не сомневались. Ну, прощай. Тороплюсь в город... и протянул Оразу руку. Но Ораз схватил ее обеими ладонями, которые были сухие и горячие, словно его опять трясла малярия, — и не отпускал.

— У тебя, конечно, дело в городе, — сказал он печально. — Подожди, поедем вместе. Я только соберу сундук и оседлаю коня. Мне здесь делать больше нечего. Если же я поеду один, колхозники могут меня поймать и избить.

Мамед подумал, малярия помутила Оразу мозги.

— Если хочешь, поедем вместе, — сказал он недоумевая, — минут десять я могу подождать. Я скажу в городе, чтоб тебя положили в больницу. Но, может быть, ты подождешь до конца уборки. Теперь не долго. А без тебя работа, гляди, разладится и колхоз уйдет с красной доски.

И тут Ораз сказал такое, отчего у Мамеда ладони тоже разом стали горячие и сухие.

— Колхоза нет больше, — произнес Ораз, махнув рукой, и Мамеду показалось, что на глазах его блеснули слезы. — Вчера вечером было собрание. Колхозники заявили, что вот закончится уборка, и они все до одного снова станут единоличниками.

Мамед слез с коня и вошел в кибитку к Оразу.

— Рассказывай, — сказал он строго,— что случилось.

— Соколов тебе расскажет все, — ответил Ораз, — но, если у тебя есть время, пойдем на поле и посмотрим урожай Дурды Клыча. И ты без всяких рассказов поймешь все сам.

Времени у Мамеда не было вовсе, но он не стал раздумывать.

— Пойдем, конечно. — И спросил:

— Это какой Дурды Клыч? Не тот ли, кого мы в прошлом году выкинули из колхоза за пьянство и лодырничество? Что же такое случилось у него на поле?

...Это был тот самый Дурды Клыч.

Конь у Мамеда устал; до города же оставалось еще десять километров, и на поле они отправились пешком.

Дорога шла через аул. Кибитки были пусты, так как колхозники все без исключения вышли на работу. Возле ям ссорились из-за костей собаки. Это были огромные степные свирепые псы, которых каждый проезжий в Туркмении привык бояться больше, нежели волков. Только собаки хорошо знали начальника политотдела и, когда он проходил мимо, они не лаяли и даже виляли хвостами.

Если бы это было час назад, Мамед, наверное, бы подумал: «До чего политотдел вошел в быт аула, раз даже овчарки не кидаются на меня с лаем». Теперь же, после того, что ему сообщил председатель, Мамед думал совсем о другом.

Когда они проходили мимо кибитки Дурды Клыча, Дурды Клыч, который был дома, сидел на кошме и пел, по своему обыкновению не раскрывая рта, какую-то песню.

Увидев начальника политотдела, он оборвал песню и поднялся.

— Мое поле хотите посмотреть?—спросил он, улыбаясь,—я провожу вас.

До поля его, расположенного на самом отшибе, на неудобных землях, которые выделялись для единоличников, было добрых три километра. И пока они шли, шагая по сухой земле, Дурды Клыч снова затянул песню.

Мамеду было достаточно одного взгляда на хлопок Дурды Клыча, чтобы понять, что случилось. Если урожай в районе был средний, то на поле Дурды Клыча он был в полтора раза больше. А значит, и заработок у него будет тоже в полтора раза больше, чем у колхозников.

— Что ты сделал такое? Почему у тебя такой богатый урожай?—спросил Мамед.

Дурды Клыч перестал петь и скромно опустил голову.

— Мне было так больно,—сказал он,— когда меня за лодырничество выкинули из колхоза, что я решил не лениться и работал все лето, не покладая рук. Я думал, вот приедет начальник, увидит мой урожай, убедится, что я исправился, и меня опять примут в колхоз. Только я ошибся. Вчера было собрание, и колхозники захотели снова стать единоличниками. Не удался мой план.

И он сокрушенно покачал головой.

— Ума не приложу,—сказал председатель, когда они остались с начальником одни,—как он успевает работать. Он попрежнему много пьет и играет в карты. Однажды он играл с мирабом целый день и ночь и опять день. И когда мирабу надо было идти к распределителю, он был бледный и шатался, как голодный верблюд. А теперь колхозники увидели урожай Дурды Клыча и заявили: «зачем же мы будем работать в колхозе, раз Дурды ничего не делает, а заработал почти в два раза больше нашего...»

К заседанию в политотделе Мамед опоздал, и Соколов уже торопился на вокзал, чтобы встретить поезд, с которым в Ашхабад из Москвы возвращался нарком земледелия Сахатов.

Но оказалось, что поезд запаздывает тоже, и у них было много времени, переговорить обо всем.

— Дурды Клыча надо арестовать, — сказал Соколов,—я знаю его. Этот картежник и пьяница сам подбил дехкан подать заявление о выходе из колхоза. Его надо арестовать и выслать, и туркмены забудут о своем заявлении.

Однако Мамед лучше знал туркмен и думал другое.

— А ты знаешь, почему у него урожай в два раза больше нашего,—спросил он Соколова.—У этого Дурды?

Соколов не знал. Значит об аресте не могло быть и речи. Если Дурды Клыча выслать, то по всем аулам поползет слух, что вот политотдел позавидовал единоличнику и поэтому прибег к силе. Сперва надо было разгадать причину необыкновенного урожая.

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

1917 год
ОКТЯБРЬ
2
ВТОРНИК

Избрание большевистского Исполнительного комитета Московского совета рабочих депутатов.
Аграрные беспорядки в Таганрогском округе. Опубликование постановления Временного правительства о праве военно-окружных судов открывать свои отделения на территориях округов.

Мамед вернулся к себе домой и, как всегда, достал из ящика начатую диссертацию и положил ее перед собой на стол. Но работа не шла. «Какая же была допущена ошибка, — раздумывал он, — что урожай в колхозе меньше нежели у Дурды. Удобрение было вывезено на поля во-время. Окучка и второй полив прошли удачно. С весенней пахотой запоздания не было. Это же один из лучших колхозов. Конечно, урожай мог быть выше, если бы не затруднения с водой, но пока не построено на Мургабе водохранилище, воду взять неоткуда. Может быть, Ораз плохой руководитель и только втирал очки... Таким он казался честным парнем, этот Ораз...»

Он вспомнил про свои утренние хвастливые мысли, и ему стало совсем больно. «Что толку из того, что ребята, завидев его, кричат: «политотдел, политотдел». Вторая пятилетка подходит к половине, а лучший колхоз разваливается, словно это тридцатый год, а не тридцать четвертый. Восемнадцать месяцев политотдел работает, не зная отдыха, и в один день такой вот Дурды Клыч может всю работу пустить на смарку. И еще он подумал, что написать диссертацию все же много проще, чем один день проработать в политотделе.

В районе политотдела 91 колхоз, и они раскинуты по территории, равной целому государству. Как тут досмотреть за всем, особенно, когда автомобиль вышел из строя и всюду приходится ездить верхом.

Он должен во что бы то ни стало отыскать причину высокой урожайности у единоличника или же признать себя побежденным и вернуть государству орден, полученный им недавно.

Мамед разложил на столе карту района. «Может быть, почва на участке Клыча иная?... Нет та же самая, лессовые отложения с большим количеством кума. Тогда, может быть, Дурды знает какой-нибудь старинный секрет, чтобы поднять урожайность. Когда он работал в колхозе, он скрывал его,—стал единоличником и применил на деле... Недаром же он тянет всегда эту свою молчаливую песню, словно говорит: «а вот и не угадаете, что я знаю. А я не скажу».

Это была, конечно, совсем смешная мысль, будто есть что-то такое, чего Мамед не знает относительно жизни туркменских крестьян; однако и такая мысль зашла в голову Мамеда.

Он спросил районного агронома, и агроном ответил, что он работает здесь двадцать лет и никогда не слышал ни о каком секрете, но вот говорят, будто у Эмира Бухарского урожай был в пять раз выше, нежели у дехкан. Так это потому, что для Эмира привозили в мешках землю из долины Пянджа, богатой удобрениями...

— Ну, это, пожалуй, не подходит,— улыбнулся Мамед и, так как было время прихода поезда из Москвы, пошел на вокзал.

Нарком земледелия был туркмен и не было такого, чего бы он не знал из прошлого своего народа.

Когда Мамед спросил его, как это может быть, что на одной и той же земле получилось два разных урожая, и нет ли тут какого-нибудь местного секрета, нарком, улыбаясь, сказал, что есть, и:— «неужели ты не знаешь, товарищ Мамед?»

— Какой же?

— А такой, — нарком смеялся, — если мираб отпустит мне на поле две воды вместо одной, вот и будет у меня богатый урожай. Погоди, товарищ Мамед, построим водохранилище, урожай в два раза выше станет, ну, всего...

Прозвонил второй звонок, и поезд повез вчерашнего пастуха дальше, в Ашхабад.

— Арестовать Дурды Клыча надо,— сказал опять Соколов Мамеду, — мы будем с ним миндальничать только потому,

что у него уродился хлопок. А он спаивает колхозников и обыгрывает их в карты. Вон, говорят, мираб спустил с себя все, этот старый болтун мираб, которого и самого пора выслать из колхоза. Он чуть не сорвал полив тогда. Несомненно...

Мамед не захотел слушать ничего дальше. «Мираб? Как же не догадался он сразу?»...

Он пожал Соколову руку и побежал в политотдел.

— Приготовьте коня немедленно. Я сейчас еду в район.

И пошел домой одеться потеплей, так как день давно уже перешел за полдень и скоро начнет холодеть.

Лицо его при этом было веселым и уверенным, именно таким, каким было утром и каким его привыкли видеть все.

— Ты же обещал, Мамед, — сказала ему жена,—не уезжать сегодня. Вот сводки принес статистик, уборка идет успешно... А я для такого праздника приготовила чахохбили, который ты так любишь...—и увидя, что Мамед берет с собой меховую куртку, спросила упавшим голосом:

— Ну, а ты вернешься ночевать? Я ведь уж и позабыла совсем, когда ты ночевал дома...

Мамед торопливо поцеловал жену и снова побежал в политотдел. Там он сказал, что обязательно вернется к ночи. «Если кто будет спрашивать, пусть подождет. Сел на коня и поскакал в колхоз «Тезе Шарк».

Когда он остановил коня, уже наступил вечер.

Колхозники вернулись с полей и сидели по своим кибиткам, в которых горели керосиновые фонари. Мамед оставил коня возле ремонтной мастерской и в аул пришел пешком, кутаясь в меховую куртку. Дневное тепло быстро таяло, уступая место степной стуже.

Первыми заметили начальника политотдела, как и давеча, ребята. Они окружили его плотной гурьбой, смеялись и звали его с собой играть и просили его рассказать истории, каких он знал так много. И он долго расспрашивал ребят о том и о сем, что его интересовало...

Потом он пошел к Оразу. Они вызвали секретаря и советовались с ним. Затем Мамед навестил мираба, и солнце уже укатилось за пески, когда в сопровождении целой толпы колхозников он направился к кибитке, где жил Дурды Клыч.

Завидев начальника, Дурды вызвал на свое лицо улыбку и заторопился навстречу:

— Салям алейкюм,—сказал он, кланяясь, — мне сегодня две радости. Одна радость, что я видел тебя утром, другая радость, что и после захода солнца я снова вижу твое лицо.

Мамед всю жизнь провел в Азии, он был перс и не удивлялся, когда дехкане говорили так, словно они на сцене и играют в пьесе, которую написал Фасли. Но в словах Дурды Клыча сейчас уже совсем явственно звучала насмешка.

— Уж не знаю, радость это тебе или не радость,—сказал Мамед,—а вот пришел к тебе в гости.

Дурды, в торопливых хлопотах скрывая недоумение и беспокойство, крикнул жене, чтоб та готовила чай, а сам кинулся в кибитку, где у него сложены были ковры, спрашивая в то же время Мамеда высоким голосом:

— Где хочешь ты, начальник, чтобы пить чай: в кибитке или на свежем воздухе.

— Правда, лето уже миновало, солнце село и воздух свеж; но, если накинуть на плечи халат, то на воздухе тоже не будет холодно. К тому же у меня сохранился чай из кооператива, который греет лучше всякого халата.

— Чай это хорошо,—ответил Мамед — только, покуда будет кипеть чайник, я погреюсь в кибитке и, может быть, мы с тобой сыграем в карты.

Дурды Клыч не поверил своим ушам.

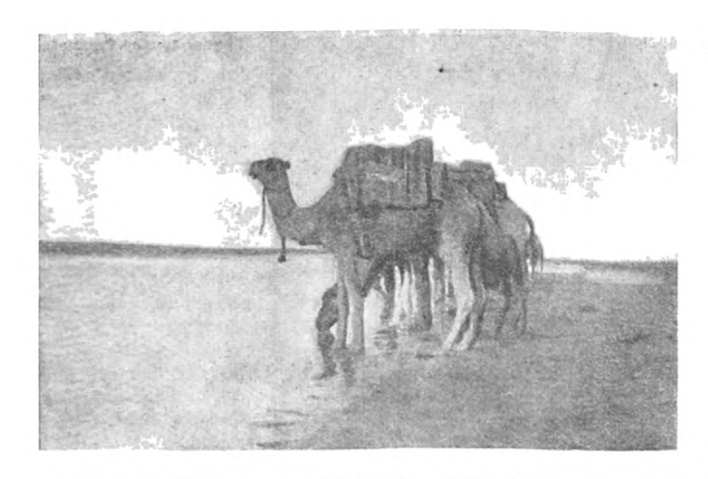
— Что ты сказал, начальник?

— В карты давай сыграем,—повторил Мамед,—я слыхал, ты большой искусник в игре, играешь не хуже, чем выращиваешь хлопок на полях. У меня сегодня вечер свободный, и я хочу отдохнуть...

— Но у меня нет карт,—развел руками Клыч,—ты же знаешь, я все лето работал, и мне некогда было думать о глупостях.

— Как нет карт? — поднял голос Мамед.—Или когда ты обыгрывал мираба, это были не твои карты, а мираба?

— Пойду, посмотрю,—покачал головой Дурды Клыч, — может быть ребята приносили,— и, чтобы скрыть растущее бес-



У берегов Аму-Дарьи

Фото С. Струнникова

покойство, он низко наклонился над сундуком.

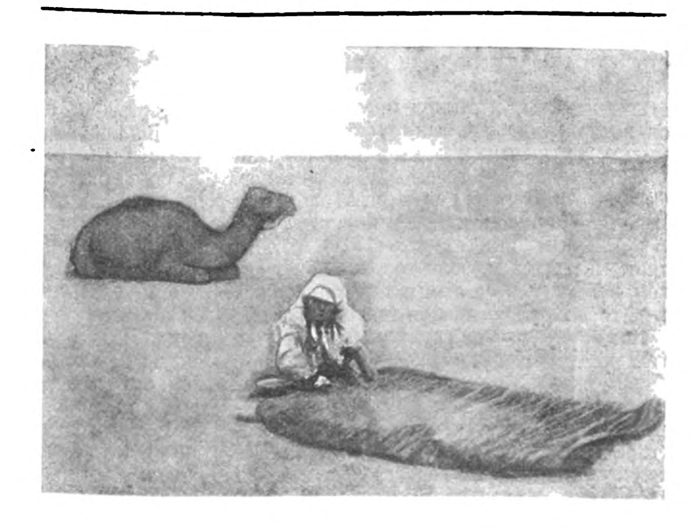
— Вот они карты,—сказал он, оправившись немного, — действительно один раз, когда я был болен и не мог идти на работу, я играл с мирабом в бараны[1]. Давай, если хочешь, сыграем в бараны.

— А на что играть будем?—продолжал Мамед. — Если б я был дехкан, а ты мираб, я бы стал играть с тобой на воду. И если бы выигрыш был мой, ты бы отпустил мне две воды сверх нормы и у меня на поле вышел бы урожай, не меньший, чем у тебя в этом году. Но ведь у меня хозяйства нет, а ты не мираб.

И тут Дурды Клыч, который был умный туркмен, хорошо знал Мамеда и понимал, что тот не будет кидаться словами зря, вдруг бросил колоду об пол и стал кричать, что мираб оболгал его, что никакой воды он ему не проигрывал, и, если начальник политотдела приехал затем, чтобы арестовать его, то пусть арестовывает и мираба. Потому что это его

[1] Туркменская игра вроде наших дураков

Фото С. Струнникова



В долине Вахша. Казахи-кочевники на привале

На реке Сумбар. Туркмения

Фото С. Струнникова

дело распределять воду, а дехкан не может отказаться, когда мираб дает ему воду...— И еще он кричал всякие слова.

Мамед не задержался этот раз в колхозе «Тезе Шарк» очень долго. Мираба и Дурды Клыча пока что заперли в мастерских — единственном помещении в ауле, которое запиралось на замок. Колхозники провожали Мамеда до дороги толпой и никто из них не говорил, что он снова хочет быть единоличником...

Мамед подъезжал к городу в полной темноте. День уже несколько часов, как отошел на покой; но конь родился в этих местах и знал наизусть все арыки, мосты и канавы, и Мамед мог не опасаться потерять дорогу. Он пускал коня то рысью, то шагом и думал, что вот так продолжается уже восемнадцать месяцев. Сегодня Ораз Берды, а завтра это будет Шаали Векилов или Вали Дада, или Аман Берды или еще кто. МТС объединяет 91 колхоз и, если только по четыре дня в году у него отнимет каждый колхоз, то все равно дней в году нехватит.

Потом его мысли вернулись к тому, о чем он думал утром, когда расстался с Ата-Ниязом. Восемнадцать месяцев не прошли зря, разве повернулся бы у дехкан язык рассказать про мираба, который из того же рода, что и остальные колхозники, что он все свободное время пьет арак и играет в карты, не будь этих восемнадцати месяцев. Да они бы скорей откусили себе языки, нежели сказали правду большевику, который к тому же и не туркмен вовсе, а перс.

Когда Мамед входил в свою комнату, где на диване, не раздеваясь, спала жена, а на столе стыл чахохбили, навстречу ему поднялся с камчой в руках Ата-Нияз.

— Вот ты торопился утром в город, как ишак с поклажей,—сказал он улыбаясь,—а я все-таки пришел раньше. У меня дело к тебе, начальник.

И Мамед на цыпочках, боясь разбудить жену, повел его в свой кабинет, чтобы узнать, в чем дело.

А дело было вот в чем...

Это было очень непростое дело. И Мамед, слушая Ата-Нияза думал, что сейчас он впервые за полтора года не знает, что ему ответить колхознику.

Ата-Нияз был не старый еще, очень крепкий и здоровый туркмен. Жена у него больная, рано состарившаяся женщина, Ай-Гюль.

Ата-Нияз ждал от нее ребенка десять лет, и теперь стало ясно, что ребенка она не принесет. А какой туркмен может спокойно ждать старости, когда в кибитке его на кошме не играет сын или—в крайнем случае—дочка. Прежде это было очень просто. Туркмен брал другую жену помоложе, и обе женщины продолжали жить вместе. Старшая ведала хозяйством, молодая ходила за ребенком и в свободное время ткала ковер. И, если женщины жили не дружно, стоило туркмену

прикрикнуть или ударить кулаком по спине, и мир в кибитке восстанавливался. Советская власть запретила иметь две жены, и это хорошо. Но вот что теперь делать? Пусть начальник посоветует...

Жить без ребенка дальше Ата-Нияз не может, а жена бесплодна... Конечно, он знает, что имеет право по новым законам прогнать Ай-Гюль и взять себе новую жену. Но что скажут колхозники? Опи скажут: «Вот жил Ата-Нияз, как мы все, и ему была по душе старая Ай-Гюль, а теперь он председатель, большевик, и вот уже он прогоняет старуху и берет молоденькую. Правду говорили ишаны, что для большевиков нет ничего святого».

Ата-Нияз друг большевиков и этого он сделать не может. Как же быть теперь? Ата-Нияз во сне и на яву видит ребенка. Вот почему он так разволновался, когда начальник спросил его: «как здоровье твоей жены». Он не мог ответить ни слова, слезы закапали у него из глаз, и он молча ушел в свою кибитку... А потом подумал: «раз начальник такой добрый человек, что его интересует здоровье старой женщины, он наверное согласится выслушать Ата-Нияза и поможет ему советом...»

Ата-Нияз рассказывал о себе и о своей беде очень подробно. Мамед устал. Он проснулся очень рано в этот день и сделал верхом больше пятидесяти километров и много говорил с колхозниками и о многом передумал сегодня, но он готов был слушать Ата-Нияза, если бы даже рассказ его был такой же длинный, как книга Фирдоуси...

Они порешили на том, что Ата-Нияз еще подумает и, если окажется, что мысли о ребенке мешают его работе, старую жену он оставит в колхозе, где за ней будет ухаживать его мать, а политотдел переведет его в колхоз «Луч», который нуждается в хорошем председателе. Там он поставит себе новую кибитку и если хочет — возьмет новую хозяйку.

Когда они расстались, радио из Москвы просипело десять часов. В Туркмении была полночь. И ни о какой работе над диссертацией не могло быть и речи. Мамед успел только очень коротенько записать в дневник события дня; потом запер тетрадь в стол и уже раздевался, когда ему пришла мысль, что если опубликовать эти записки (а их накопилось пять тетрадей за полтора года), то какой-нибудь ученый в Москве, у которого больше свободного времени, может написать по ним целую книгу по истории нового Востока...

Народный доход СССР это — личное потребление страны, плюс социалистическое накопление

ЕЖЕДНЕВНЫЙ доход страны
152 МИЛЛИОНА рублей
(В 1913 г. — 57 миллионов рублей)

Эта сумма в полтора раза превышает стоимость завода „Шарикоподшипник", крупнейшего в Союзе.

Л. Саянский — **Рисунки И. Бекетова**

Утро встает ясное, влажное, теплое. Оно пахнет вянущими листьями и яблоками, — родной запах чудеснейшей долгой осени в Приазовьи и на Дону.

Воздух тих, прозрачен, и как-будто хрупок. В еще бледное небо лениво ввинчиваются спиральные дымы дежурных паровозов, стоящих на веере у депо.

Рожки стрелочников поют, как пастушьи дудки. Грохоча полутысячью колес, пробегает шестичасовой маршрутный. Длинный, высокий и грузный «Феликс» горластым и низким ревом прощается с дебальцевскими семафорами. Этот рев сквозь сон безошибочно узнает инженер Тихонов.

Еще его тело борется с явью, еще тяжелая от усталости голова льнет к нагретой подушке, и глаза слиплись от сна, но какая-то доля сознания уже начеку и в сонном мозгу возникают разряды — приказы.

— Шесть утра. В полседьмого летучка у Гоголева. Ясиноватая. Вызов. Да, да, да!..

— Да! — говорит Тихонов и открывает глаза. В следующую секунду он вскакивает с кровати. Низкий и длинный заезжий «дом итеэров» уже ожил. В коридоре хлопают дверьми, лязгают кранами в умывалке, тянет дымом из кубовой, слышны голоса.

Инженер шнурует ботинки у стола и глядит одновременно в блокнот.

— «6. 30 — летучка. 7. 30 — контора. 9 — совещание по безопасности. 10. 30 — сбор сводок с горок. 12—лекция по коррозии. 14.30 — на установке в депо... в 15 час. — кружок, в 19 час. техминимум... День расписан, заполнен; в клетушке часов туго впихнута масса дел, встреч, приказов, усилий.

Энергично вытираясь жестким полотенцем, инженер Тихонов думает о лекции, вспоминает формулы.

Блокнот. Портфель. Часы. Куртка. Шапка.

— А чай? — спрашивает инженера проснувшаяся жена, — опять бежишь без чая?

— Когда же тут чай? — бормочет Тихонов.

— Обедать придешь?

— ...без меня-а!.. — доносится уже из-за двери.

За окном снова грохот и рев. Стекла дома звенят, гул врывается и распирает всю комнату.

— Угольный 6.10,— говорит сама себе жена инженера и вздыхает: — Господи, до чего надоело это общежитие! В двух шагах от путей... Всегда дым, уголь, грохот, свистки... Поезда через каждые пять минут... Неудобства, скверный куб в грязной кухне, толчея,— проходной двор, а не дом!.. И, что обидней всего,— уже неделя целая, как отвели квартиру в поселке, нужно только собраться, достать грузовик и переехать! И все некогда. В шесть утра убегает муж, в час, в два ночи приходит, падает как сноп на койку. Говорит, — погоди, разошьемся, тогда...

— Длинь-трень... — опять звенят стекла. Снова наплывающий рев и гром; голубые облака пара застилают снаружи окна и басистый вой гудка замирает вдали.

— 6.22... Скорый...

Жена сердито хватает вторую подушку и закрывает ею голову, прячась от гула.

— Посплю до харьковского!

За блестящим и путанным переплетом путей, напротив вокзала, краснеет кирпичный корпус с подъездом, облепленным плакатами и объявлениями. Во втором этаже политотдел района. Туда, привычно шагая через рельсы, быстро идут трое:— Тихонов, Любомирская Лена и дежурный по восточной горке Михальчук. Инженер небрит третий день. Он шагает нервной подпрыгивающей походкой, сильно размахивая портфелем. Любомирская, комсорг Сортировочного узла, катится шариком в новом сером пальто. Пальто не по росту велико, рукава и полы приходится подбирать, — премировали недавно, а другого пальто кроме этого не нашлось в ОРСе. Беретка с красной

звездочкой сползла на затылок, пушистые волосы падают на полудетский лоб. Лена встряхивает головой, семенит, догоняя инженера.

И, шагая как журавль через стрелки и остряки, мерно, как-будто лениво, но быстро, идет рядом голенастый сухопарый Михальчук; с виду он хмур, всегда готов ворчать, спорить, во всем сомневаться, но на деле он добрейший, душевный старик.

— Чего хмуритесь, дядька?—запыхавшись, веселым голосом спрашивает Любомирская.

— Чи сказились, чи що — у том райподоре, по утрам заседать? — ворчит Михальчук. — Добри люди, может, с дежурства ще не спалы ни трошки...

— Так и спите себе! Никто же вас не заставляет итти на летучку... — откликается Тихонов.

— Як-же ж так не итти? Що ж вы думаете, тильки вы, инженеры, интерес до узла маете? Що ж я, отсталый, чи що?

— Так чего же ворчите? Чего хмуритесь?

— А с того хмурюсь, що к вичеру хмара буде...

— Типун вам на язык, дядько! — подетски пугается Любомирская, — расшивать узел надо, а вы туман пророчите на ночь... Э-э! Здорово, Шульженко! — кричит она проползающей маневровке. Из окошка будки по пояс высунулся веселый замасленный до волос механик Шульженко, тот самый, что на-днях премирован в шестой раз.

— Здорово, начальство! — кричит и механик. — Лена, Леен! «Целину»-то когда дочитаешь?... Я сегодня зайду-у-у... -уууу-ту-ту-ту-ту-ту, — туууу! — голос механика поглощается свистом встречной «джойки», громыхающей мимо.

— Шестой путь — вперед!— переводит в уме голос сигнала Любомирская.

На узкой лестнице людно и шумно. Внизу расположен участковый профкомитет, там же ОРС и контора пути. За дверями звенят и дудят телефоны. На часах в секретариате райподора еще только 6.30, но народ уже обступает стол секретаря. Резервные кондуктора в тяжелых ночных тулупах, с фонарями и деревянными баулами в руках, проводники и смазчики, профработники и конторские, теснятся в комнатке, выкладывая свои дела и нужды.

Тихонов со спутниками пробиваются сквозь толпу и спешат в кабинет начполита. Сесть там негде, диван, стулья и подоконник уже заняты собравшимися дежурными и де-эсами, диспетчерами, бригадирами и парторгами. Начполит, круглоплечий, румяный, как всегда спокойный, кивком предлагает Тихонову край стола. Совещание продолжается. Три минуты каждому на сжатый доклад —что, где делается, как, почему? Две минуты на решение. Так за сорок минут создается диспозиция дня.

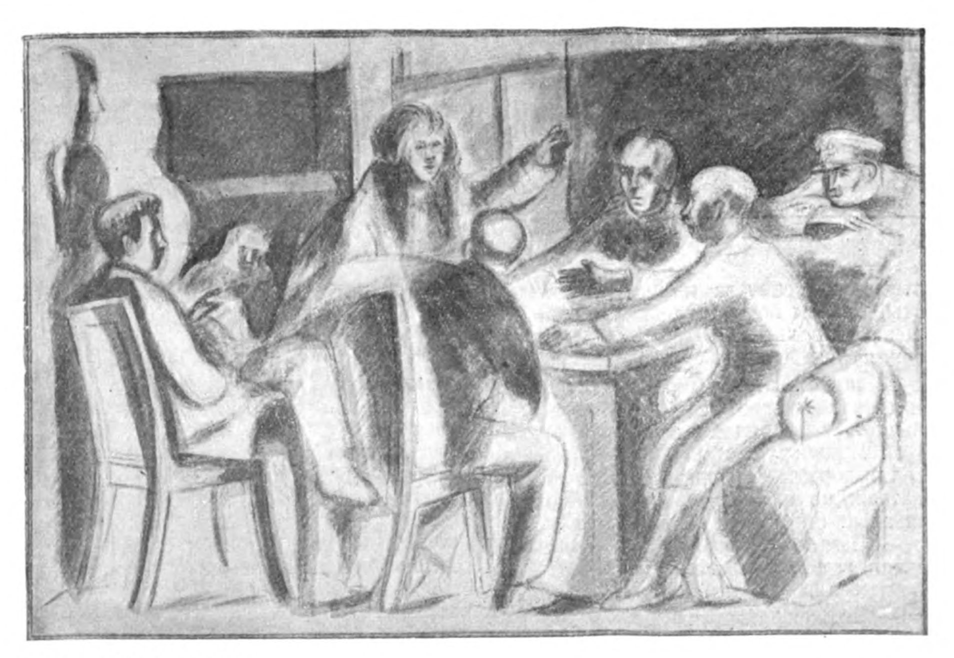
Гоголев краток.

— Ясиноватая, такой же гремучий узел, вызывает Дебальцево на соревнование. Показатели все читали в газете? Обращаю внимание на главный: ни минуты простоя в узле. Шахты подали «на-гора» массу угля. Уголь ждет маршрутов. Уголь — нетерпелив, он не любит лежать, он готов загореться еще в штабелях и на эстакадах. Но, товарищи, ждет не только уголь!

Начполит Гоголев вместе с креслом поворачивается к стене.

— Положение — вот оно, как на ладони!

На толстом ватмане дорожной картосхемы — огромный паук с разноцветны-



Совещание продолжается...

ми длинными лапами. Паутина путей с четырех сторон света. На востоке: Зверево, Штеровка, Антрацит, — колыбель угля.

Оттуда, из сердца Донбасса, через узел, грузно льется река угля — настоящий черный Гольфштрем. В углярках, американках — штыб, орех, кулак, глыба[1]. В черном блеске изломов и граней — свет, тепло, жизнь машин. Дорогу углю! На Харьков, Саратов, Москву, Балашов — уголь — в первую очередь!

Юг: Таганрог, Ростов, Мариуполь. С юга, с присальских, с кубанских равнин катится золотая лавина зерна, сытной тяжестью распирая стенки вагонов. Дорогу зерну на Север! Зерно... тоже в первую очередь.

Запад: с «Екатеринки», через Ясиноватую, сверхмощные «Феликсы», «Эхи» и «Э-у»[2], пыхтя от натуги, катят тяжелейшие составы с рудою. Из Криворожья через Дебальцево, на Алчевскую и Луганск, навстречу брату-углю идет сестра-руда. Дорогу руде! Она... тоже в первую очередь!

А с севера льется четвертый поток: лес, железные фермы, азбест, химикалии, тракторы, комбайны, взгроможденные на платформы до предельного габарита. Через Харьков и Воронеж, на Артемовск и Зверево, скрещиваясь в Дебальцеве, текут четыре гигантских грузопотока, образуя вихревое кружение сотен тысяч вагонов, платформ и цистерн, — грохочущее, ревущее, дымное и сияющее огнями поле битвы за скорость, за четкость, за честь дороги.

Совещание закончено, командиры узла расходятся. Уходят, получив инструкции, и главные бойцы узла с Сортировочной: Городовой,— де-эс[1] станции, инженер Тихонов и комсорг Любомирская.

Начполит остается один, он шуршит сводками. За последнюю сентябрьскую пятидневку Сортировочная—Дебальцево пропускала за сутки в среднем девя-

---

[1] Названия сортов угля.
[2] Серии паровозов.

[1] Де-эс — железнодорожное обозначение начальника станции.

носто пар поездов, не считая еще тридцать шесть пар пассажирских. Из простого сложения возникают страшные цифры!

95+36=131, итого сто тридцать одна пара, то есть двести шестьдесят два поезда в сутки,—то есть каждые шесть минут поезд прибывает на узел и каждые шесть минут уходит с узла другой поезд.

Начполит передергивает широкими плечами, будто от холода. Чем дольше глядит он в эти сводки и схемы, тем ярче встает перед ним вся огромность сложнейшей, ответственнейшей работы.

Ведь стоит только оставить — не успеть, не суметь! — от каждого поезда два-три вагона, и вот «пробка» — страшная, плотная масса вагонов, — закупорит всю артерию...

День проходит, как поезд, — весь в движении и грохоте, в хоре свистков. В двух огромных депо дробно звенят молотки, вздыхает пар; в смотровых канавах ползают люди, осматривая железные животы покорных паровозов. Дежурные, по обычаю, берегут машины «на случай», отругиваются от вызовов на пути. В кондукторском резерве на кухнях толпятся с огромными чайниками «оборотные» кондуктора и проводники. Фабзайцы чирикают напильниками в школьных мастерских. В десятках будок у телефонов коротают часы «старшие» по постам, и сотня стрелочников исполняет несмолкаемый медный марш, бегая по путям. Дым густеет над станцией; все сильней пахнет углем.

День, — как день. Главное будет ночью, в первую треть дорожных суток. Ведь рабочие сутки дороги начинаются не с полночи, а с шести часов вечера.

В 17.30 Любомирская с Тихоновым кончают обед за служебным столом на вокзале и оба выходят из буфета.

Свечерело. На путях загораются лимонно-желтые, зеленые и красные огни. Лена смотрит на небо с тревогой. — неужели же, правда, ударит туман?.. Что-то больно тепло и сыро...

У касс в «третьем зале» толпится и голосит армяжная овчинная толпа. Перешагивая через баррикады узлов и сундуков, товарищи идут к выходу. У «жесткой» кассы смех, соленые шутки. Громадного роста «дядько», в заплатанном кожухе и старинной солдатской папахе, повздорил с кассиром.

— Да ты толком скажи, куда тебе билет? — кричит из окошка обозленный кассир.

— Та я ж кажу вам, доки грошив фатит, туди и давайте! — отвечает дядько и молодцевато моргает соседям.

— Ну, хочешь до Иловайской?

— Ни. Бо я там вже робил...

— Вин там вже нашкодив, га-га-га! — смеются в толпе.

— Ччоррт... Летун... — ворчит кассир, — ну, на тебе Горловку и сдачу. Отойди, говорю, от окошка!

У Любомирской удивленно поднялись брови; она новичок на узле, — лишь в июле прибыла в счет «пятисот» комсомольцев на Донбасс.

— Что за способ выбирать маршрут, по деньгам глядя? — Говорит она Тихонову.

— Типичный летун! Их тут много летает по шахтам и копям... Не сидится ему на работе, или просто пропьется, поругается, ну, вот и едет куда глаза глядят, «доки грошив хватит»...

Резкие звуки труб встречают их при выходе на перрон.

Пестроодетый оркестрик дудит трескучий марш на 4-й платформе, где готовится к отправлению эшелон призывников, собранных на узле. Толпа разбилась на кружки. В одном отъезжающие, лихо взбив кепки на затылки, поют: «По долинам и по взгорьям». У дирижера строгое лицо и большой бант на кепке, — это старший по вагону. В другом круге, окруженный смеющимися ребятами, долговязый призывник яростно «разрабатывает» чечетку пополам с гопаком. Он пляшет под марш и командует сам себе:

— Ать-два! Ось як! Ать-два!!

У вагонов толпятся парочки, — все дивчата из поселка пришли провожать призывников. Вдоль вагонов носится и мелькает зеленая фуражка начальника эшелона. Сбоку вспыхивает рефлектор, вырывая из густейшего сумрака огненно-красный кусок полотна с частью надписи:

— «... оборону Союза...»

Ветка тополя загорается серебром и качается в луче света.

— А ведь правда, что-то быстро стем-

нело?... — говорит Тихонов, — ой, напрочил хмару старый чорт Михальчук!.. У тебя с восемнадцати какие смены вступают?

— Быковская, «отчаянная», — отвечает комсорг. — Но если и правда туман упадет, придется весь комсомол мобилизовать. Туман, знаешь, чем пахнет? Бежим-ка, бежим, а то теплушка уйдет, придется пять верст по путям колесить!..

И оба бегут. В рабочем вагоне люди стоят вплотную. Кончается смена. Люди едут на узел.

Колеса бьют дробь на бесконечных скрещениях. Кружась, танцуя и мерцая, уходят слева направо огни; гулко откликаются мостики, башни, составы вагонов. Любомирская, держась за косяк, перегибается наружу, нюхает влажный, хлещущий в лицо воздух:

— Ой, неужели туман? Вот беда...

На длинной, в три километра, площадке, тянувшейся с запада на восток, тесно уложены рядом сорок три колеи и поставлены сотни стрелок. Сто шестьдесят километров пути вобрала в себя сортировочная площадка.

На обоих концах ее виднелись заметные возвышения — маневровые «горки», — восточная и западная. Тяжело дыша, сдерживая ход, железные мамонты — Эхи, ЩА, ФД, — подводили к узлу стовагонные составы и осторожно втягивали их на горки, к преддверью боевых штабов. В штабах-башнях сидели командиры участков, — восточный и западный диспетчеры, перед графлеными планами своих путей. Пути эти веерами расходились с половины горок, уходя вниз, к маневровой площадке.

Оба диспетчера были напряжены, глухи и немы ко всему, кроме сигналов и кратких команд.

Подвезенные оба состава надо было немедленно разделить и спустить повагонно на площадку «самокаткой», так чтобы из разобранного на горке поезда внизу образовались пять-семь-десять и более групп вагонов одного назначения. К этим группам потом прибавлялись спускаемые вагоны из вновь подошедших поездов, до тех пор, пока на площадке не составлялись новые и однородные маршруты:

— Уголь — Харьков, руда — Алчевск, зерно — Пенза, асбест — Киев.

Склонившись над планами, диспетчеры лихорадочно разбирали кипы документов, тасуя вагоны по направлениям, намечая заранее, где и как их поставить. Все проверив, разметив, решив, они бросали короткий приказ на горку, где выжидающе стоял стотелый темный состав:

— Расцепка!

Деловитая, быстрорукая рота сцепщиков молча кидалась к составу, дробно стучала по стенкам вагонов кусками мела, гремела развинчиваемыми фаркопфами и кричала:

— Давай! Давай!

Черномазая маневровка «кукушка», или «тандемка», крадучись подползала сзади и легонько толкала расцепленный состав к краю горки.

— Клямм-клямм-клям!.. — чокались буфера, и первые вагоны переходили ту линию, где начинался уклон. Они колебались в нерешительности перед спуском, они медленно, будто не веря свободе, проходили черту и тогда вслед спущенным первым вагонам тревожно и звонко пел медный горн:

— Впере-еед! Та-та-та!

Вагоны, почуяв свободу, уже ускоряли ход, громыхали на стыках все чаще, но их опережал еще сигнал:

— Тра-та-ти-и-ти-ти-ти! Пятый путь! Берегись!!. — предупреждала медь вторую линию бойцов.

На половине уклона, у стрелок и переводов стояли молчаливые, напряженные стрелочники. Стиснув зубы, задерживая дыхание от боязни не расслышать сигнал — ошибиться, — они кидались к балансам и одну за другой переводили стрелки, рассыпая мчащийся сверху состав в грохочущую цепь разбегающихся по путям вагонов. И тотчас же поднимались рожки и медные ноты — сигналы сыпались вниз в третью линию:

— Та!

— Ти-и-и!!

— Вперед! Береги-и!!!

— Пятый путь! Ти-и! Вперед! Та-а!!

— Внимание, шестой! Тра-та-та! Береги-и!

Седьмой! Девять! Внимание! Та-та-та-та-та-аааааа!! Горны пели, стонали, медный хор нарастал оглушительной

звуковой пирамидой, сливавшейся с грохотом набирающих скорость вагонов.

Хлеща рассекаемым воздухом, со свистом и гулом, неслись вниз упоенные силой тяжести двадцатитонки, углярки, — вниз-вниз-вниз! — туда, где их ждала третья линия схватки, где замерли, рассыпавшись редкой цепью поперек путей, тормозильщики. Сбросив лишнюю, длиннополую, опасную в бою с вагонами, одежду, они зорко глядели вперед, они слушали медный приказ, сжимая в руках свое тяжелое орудие. Завидя летящий вагон, пригнувшись на некую долю секунды к колесам, тормозильщики ловко и метко кидали на рельсу пудовый «башмак», железный клин, о который и спотыкалось одно из передних колес вагона. Железо визжало и сыпало искрами, въедаясь в бандаж, вагон трепетал и подпрыгивал, пытаясь осилить препятствие. Но клин, скрежеща, полз вдоль рельса под колесом, тормозя его бег и вращение. Тормозильщик хватал второй клин и ловким броском швырял под заднее колесо.

Визг, скрежет, фонтанчики искр усиливались, вагон скрипел, лязгал цепями и бунтовал, но сдавался, теряя разбег, пока покоренный отчаянной волей человека не замирал на отведенном сигналами месте... На соседних путях царил тот же скрежет и грохот, — последующие вагоны были пойманы также и покорно вставали в строй.

Но едва успевали бойцы вытереть крупный пот и освободить из-под колес «башмаки», как сверху снова сыпался медный дождь звуков:

— Береги-и! Десятый — вперед!

Гудя, раскачиваясь, распарывая пространство, с горки мчалась вторая вагонная лавина. И опять все искусство, вся ловкость, и смелость и сила людей направлялись на то, чтобы затормозить вагон, не дав ему стукнуться и разбиться о предыдущий. Так бывало нередко, называлось это официально «боем», и вносилось в оперативные сводки, как список потерь:

«— бой 17 вагонов. Убыток 2.000 руб.»

Заполнив спущенными с горки вагонами всю длину маневровых путей, командир останавливал наступление.

Он кричал в фонопор, в телефон:

— Пост 14? Пост? Маневровый 0-315 у вас? Принимайте с 8-го и 3-го живо!! И в те самые считанные минуты, пока маневровки убирали с площадки на выводные пути переформированные маршруты, с востока на горку, гулко фыркая конусом и сифоном, вползал новый товарный гигант и тащил длиннейший хвост углярок, а с завода на такую же горку — входил состав с рудою...

Вдоль площадки, с обеих сторон высились грузные корпуса двух депо, башни водокачек, семафорные мостики, будки, дежурки, мастерские и склады. На командующем бугре, сверкая множеством окон, штаб узла, контора де-эса.

Мерный и мощный хорал звуков гудел за окнами; зарево светофоров отражалось в стеклах кабинетов. Штаб не спал никогда; он работал в две смены; в гулких комнатах бегали люди, дребезжали телефоны; зеленые абажуры бросали бледные блики на склонившиеся лица. Шуршали табели и сводки, щелкали счеты, вычисляя четырехнольные цифры вагонов и тонн-километров.

Не попавший и сегодня к обеду домой инженер Тихонов, охрипнув от лекций в трех кружках и от телефонных переговоров, писал срочную статью в райгазету: «Когда же волокитчики из дирекции установят нам кузню?»

Де-эс Горовой слушал гул за окном, безошибочно определяя по свисткам, сигналам и лязгу, что и где делается на площадке; он принимал краткие доклады и отмечал на плане ход маневров. Непрочитанная газета лежала под локтем. Крепкий чай в толстой кружке ждал.

— Бау-баамм! — басовито сказали часы над дверями и пробили одиннадцать раз.

— Двадцать три... — сказал про себя де-эс, — прилечь что ли на часик?.. Самый напор к рассвету начнется... — Он протянул руку к газете. Отхлебнул глоток чая. Оглянулся. Странное беспокойство охватило его. Он обвел взглядом строй настольных аппаратов, груды бумаг... Что такое?.. Не забыл ли я что? Но уже следующая минута открыла ему корни смутного беспокойства: — за окнами царила т и ш и н а.

Горовой изумленно поднял темные густые брови, проверил себя: над две-

рями внятно разговаривали часы, — тик-и-так, тик-и-так. Слух не ошибся: узел молчал. Непривычно и страшно.

— Восточная?! — крикнул всей грудью Горовой. — Восток? Михальчук? Что случилось?

Из диска аппарата донесся измененный не то расстоянием, не то тревогой голос дежурного:

— А, ну, я же казал вам, що хмара вечером буде! Ось. Побачьте, начальник, що на вулице зробилось!..

Грохоча по ступенькам, Горовой опрометью выскочил в садик перед конторой. Сзади встревоженно гомонили голоса сотрудников.

Пепельный влажный сумрак стелился по кустам, точно волны газа. Да, это был именно газ, — страшный газ, враг, грозивший обессилить весь узел, остановить маневры и закупорить к утру дорогу.

— Дополнительно!.. Все прожектора, фонари!.. — крикнул де-эс сбежавшему вниз Тихонову. — Все, кто есть — к телефонам! Поднять бараки! Любомирскую к аппарату, скорее! Мобилизуем все, но...— он замолчал и скрипнул зубами.

— Вот чоррт... как на зло... — бормотал де-эс, быстро и уверенно шагая в тумане по спуску к площадке, — куда могли деться все комсомольцы сегодня? Неужели в поселке... Хоть бы бригаду Ужевки собрать... все-таки десятка два тормозильщиков на подмогу бросить бы... Чорт с ним, ну пусть будет «бой», пусть потери, только бы не пробка! — Под ногами замелькал переплет остряков и переводов. Сквозь туман моргнул свет.

— 16-й пост...—угадал Горовой и взял направление на нижнюю дежурку. Туман набухал, вздымался. Жемчужные, зыбучие ореолы плавали в вышине вокруг светофоров. Странный, неверный свет без теней колебался над путями. Застывшие на путях вагоны казались огромными и овальными пятнами; очертания и углы расплывались, прятались. Мельчайшая изморозь пудрила лицо. Слева вынырнул высокий силуэт с огромным топором на плечах.

— Кого тут? — глухо окликнул он.

— Быков? — Горовой по голосу узнал бригадира молодежной ударной бригады.

— Что, брат... туго выходит дело?

— Видать слабо, — равнодушно ответил Быков, — а так ничего. Тилипаемся... Стой-ка, а?

— У-ти-тииии! — придушенный медный стон долетел с восточной горки. Слабый звук этот и обрадовал и испугал начальника:

— Не сдается, пускает Михальчук!.. Подмогу скорей бы, одной смене не справиться в этой мгле.

— На мой гонят? — вопросительно произнес Быков.

Топор, оказавшийся «башмаком», с глухим стуком упал на песок. Быков бросился ничком на землю и припал ухом к рельсе.

Рельс, холодный и мокрый, еле слышно вибрировал; сталь издали жаловалась на бегущий где-то в тумане вагон. Звон в рельсе усиливался.

— Встань! — хотел крикнуть начальник, но Быков уже вскочил и поднял башмак.

— Хошь што хошь, а вслепую придется... — деловито сказал он и быстро побежал навстречу нарастающему гулу, пригибаясь и держа «башмак», как гранату, на-отмашь и сзади.

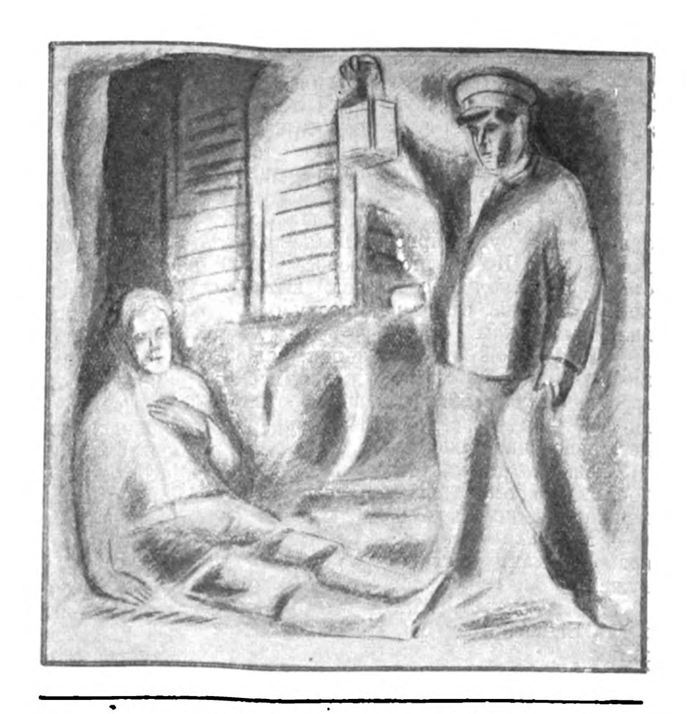
— Тяжелая углярка стояла в десяти шагах на пути.

— Ох, и шлепнет же ее, ежели он прозевает... — подумал начальник и бросился за Быковым, пытаясь рассмотреть сквозь туман бегущий навстречу вагон. Заныли рельсы. Гул возрос; распахивая туман, выскочил тупой, бычий перед вагона. Фигура Быкова метнулась у рельс и будто упала.

— Дррынь!!!—хлестнул в уши железный удар; знакомый скрежет на мгновенье успокоил де-эса. Но на мокром рельсе башмак заскользил, уступая колесам... Вагон лез вперед, гремя бандажами. Второй скрежет и визг, — и второй башмак под задней осью пополз, приближаясь к углярке...

— Готов бой!.. — сжимаясь от ожидания громового удара, решил Горовой. Он отскочил и гаркнул: — Быков! На-зад!! Что ты... Что-о?!..

Третий удар, лязг и упавшая тишайшая пауза поразили его. Он бросился к вагону, застывшему в шаге от углярки, и нагнулся к бригадиру. Быков сидел у самых колес на балласте и что-то бормотал.



— Ты... ты... цел?..

— Ты... ты... цел?..

— Сволочь... — сквозь зубы сказал Быков, и Горовой увидел вблизи его широкое темное лицо со строгими глазами.

— Чуть не сшиб. Хорошо что передний башмак я успел выдернуть, да еще раз перекинул... Едва выдрал его, суку...

— Как ты смел?... — сдерживая волнение, крикнул де-эс, — ты же знаешь, что это нельзя...

— А вагон бить можно?.. — огрызнулся Быков, вставая с земли и по медлительности его движений де-эс понял, что тормозильщик сильно ушиблен.

— Сейчас я сменю вас, — официально сказал Горовой, — и отправлю в покой. А вопрос о вас поставлю в ячейке. Чтоб вы не смели вперед фокусы выкидывать, чорт вас бери совсем!.. балда, ей богу... ведь без ног мог остаться ты, курносый чорт... Что ушиб?.. Ногу? руку?

— Брось, начальник... Цел я... Просто с испугу... — Он поднял башмак и насторожился, — предупреждающий сигнал повторялся. Горка работала. На соседних путях снова слышались знакомые удары, звон буферов и голоса.

Дежурка, стоявшая среди путей, была почти пуста. На длинной «ожидальной» скамье мирно спали головами друг к другу два резервных осмотрщика. Посреди барака жарко горела железная печурка. Один бок ее розовел от накала. В углу висело рукописное объявление:

«Завтра 3-го октября в обеденный перерыв лекция инж. Тихонова про электросварку.

И — ниже:

«5 го октября в красном уголке собрание молодежных смен. Явка обязательна. Комсорг Любомирская».

Старый стрелочник Задриборода гремел огромным чайником; на столе были кружки и хлебные корки.

На стук двери, обернулся бригадир-молодежник, Ужёвко. Значок «Сталинца-ударника» блеснул на лацкане куртки. Худощавое лицо улыбнулось навстречу.

— Ты откуда? — с радостным уди-

влением спросил начальник, — а мы-то тебя вызывали, искали...

— А хмара-то? — ответил вопросом Ужевко. — Чего нас шукать? Мы же все здесь, с двадцати часов уже дежурим.

— И Любомирская, значит?

— А как же ж. Она нас и подняла. Хмары боялась...

Ужевко говорил, как всегда, медленно, тихо, будто прислушиваясь к самому себе. И от этого голоса сразу стало спокойно. Горовой сел, вытянув ноги к печурке, зажег папироску о раскаленный бочок.

— А напрасно ты, начальник, калошки-то не одел, — сказал Ужевко, посмотрев на мокрые и потемневшие ботинки де-эса, — к рассвету совсем мокро будет, испортишь «колеса»!

Ужевко не сомневался, что Горовой до рассвета останется на путях. Это понял начальник и еще более успокоился.

— Мои «колеса» что...—ответил он,— вот «башмаки» скользят, знаешь, это хуже!...

И он рассказал, как сейчас чуть не погиб Быков, воюя со скользившим вагоном.

— Ему иначе нельзя, — спокойно заметил Ужевко, — он теперь соревнуется.

— С кем это?

— А с собой. Он ведь у нас «бракодел» был. То и дело вагоны кокал. Да еще и кричал, что без боя нельзя. Ну, а Любомирская его повернула...

— Чем?

— А сначала его в стенгазете засняли во всю личность, да стихи под него приписали, такие, знаешь... Сам не свой парень стал. Все ходил, приставал — убери, сними мой позор! А она ему срок поставила и, знаешь, условия: собери, дескать, всех бракоделов, составь смену свою, да покажи работу! А мы, мол, тебя бригадиром назначаем. Ну, вот, парень и роет землю! И все у него на подбор бывшие бракоделы, а теперь на собраниях орут:

— Башку положу, а боя не дам! И пить бросили. Да и то сказать...— раздумчиво закончил Ужевко,— с чего пить теперь? Общежитие она нам добилась — устроила, что надо. Музыку завели. Книжки тоже. Кормить стали добре. Вот жить и не скучно...

— Хор-рошая девка. — сказал Горовой.

— Чего говорить. «Пятисотка»!

Предутренний легкий ветер дохнул с востока. Туман всколыхнулся, местами поредел. Обе горки уже работали без перебоев. Самый тяжелый момент прошел. Молодежные смены спасли положение. Рожки и трели свистков звенели увереннее. С шипением продувая цилиндры, подплыла к готовому составу маневровка. — Климм! Климм! — поздоровались буфера.

У переднего вагона, освещаемые фонарями, возились люди. Горовой подошел, поздоровался.

«Знатный» Нагорский, получивший осенью Трудовое Знамя, сам руководил осмотром маршрута. Его ученики с молодым Гайдашем, осмотрели весь состав, проверяя буксы. Поезда, осмотренные Нагорским и его бригадой, звались на Дороге «несгораемыми» — отцепок по горению на них не бывало.

— Именно, что ли? — спросил начальник.

— А как же! — цемент для метро! — ответил бригадир и прихлопнул ладонью наклеенную на стенку вагона фабричную марку станции. На розовом бланке стояло:

СССР. НКПС.

Донецкая жел. дорога
Маршрутный поезд № 840 до станции Москва
Сформирован на ст. Дебальцево . . . .
Сменный деж. по станции . . . .
Осмотр и ремонт вагонов произведен . . . .

Нагорский, послюнив карандаш, вписывал фамилии. Теперь срочный маршрут носил фабричную марку. За него, за честь станции отвечали вписанные в «марку» работники. Небрежность, авария, отцепка в пути — пятном ложились на всех.

— Ха-рош! — сказал Нагорский, выслушав Гайдаша.—Нарочно буксу не согреешь! Не спится, что ли, товарищ начальник, все бродишь?

— Так... освежиться вышел, — равнодушно ответил де-эс. Пережитая бешеная тревога рассосалась вместе с туманом. Отчаянная схватка «вслепую» с вагонами казалась уже давнишней. Что ж? Бывает. На то и дорога. На то и работа...

В кабинете все было привычно, тепло и светло от сильной лампы. Газета лежала на полу. В кружке стыл коричне-

вый чай. Диван тускло поблескивал медными кнопками. От зеленого дермантина подушек пахло клеенкой и дремой.

Аппараты ободряюще подмигивали никкелем и лаком. Горовой поднял первую трубку.

— Запад? Ну, как? Все в порядке? То-то!

Потом во вторую:

— Восток? Ну? Добре...

Он подошел к широкому окну, отвел занавеску. Долго глядел на мерцающее огнями, зореющее голубыми ореолами, поле недавней схватки. Туман полз на север, пытаясь догнать уходящие вдаль поезда.

На Воронеж, на Харьков, на Миллерово и Лиски, хлеща дымом и искрами в низкое небо, разгоняя ночь снопами скользящего света и наполняя спящую степь звенящим гулом, шли, прорвавшись сквозь хмару, тяжелейшие маршруты.

Шла кровь— руда. Уголь— дыхание. Артерия полнокровно пульсировала. Узел работал, как сердце.

На востоке болела и наливалась розовым робкая полоса. Диван добродушно звякнул пружинами — «отдохни!». В дверь просунулась серая кепка. Из-под козырька прищурились глаза Тихонова, красные и блестящие.

— Спите?

— Вы чего, собственно, бродите? — дремотно спросил начальник,— чего домой не поехали?

— Когда ж домой... ответил инженер,— ведь у нас за сутки-то не меньше десяти тысяч будет... Уже три прогнали и заметьте — нет боя! Здорово, а? Ну, спите...

Он повернулся, остановился, схватился за затылок и тихо удивился:

— Ба-атюшки! Опять я сегодня не переехал!.

---

57 150 ВАГОНОВ

было погружено в стране

2-го ОКТЯБРЯ 1934 года

2 229 из этих вагонов были гружены металлом, 5 416—хлебом.

Поезда страны

ЕЖЕДНЕВНО перевозят

2 653 000 ЧЕЛОВЕК —

почти все население Ленинграда.

В Старожилове

Бор. Хольцман

Это заметки-листки из дневника редактора одной из политотдельских газет — рабочие, оперативные записи, наметки будущих работ.

Каждый день, читая „Правду", редактор, сталкивает дела всесоюзных и своих районных масштабов. Это самое увлекательное чтение и стоит только сопоставить — крохотный факт ежедневной политотдельской практики преображается в грандиозной социалистической перспективе.

Остаток вчерашних дел:

1. Доругаться с „Заготзерном" (почему не отвечают на заметку о ловцовском ссыппункте).
2. Позвонить в сельсоветы (напомнить о слете селькорок, — пусть подводы всем дадут, и близким, и далеким, чтобы грязь зазря не месили).
3. Разыскать С. С. Чугункина (брошюру об уходе за скотом мы обязательно составим).

Сегодня сделать:

В 7 — просмотр оригиналов, правка,
в 8 — сегодняшняя почта,
в 11 — выехать в Старожилово на призывной,
в 2 — макеты,
в 3 — на 2-й смене в школе потолковать с четырехклассниками,
в 4 — вечерняя почта, газеты,
в 6 — в Новоселки, к Филиппову (что-то парня опять обижают, надо разобраться, и если зажим, вправить мозги правленцам),
в 8 — полосы
в 9 — радио „Трактор"[1] (основная тема — призыв).

Написать:

Комкову (пусть и о положительных делах вспомнит),
Лизунову (нельзя делать газету только редакционными руками),
Денисову (опять играет „в молчанку" на третью заметку не отвечает),
Коровину (объяснить, почему не пошел фельетон).

Лично:

Подготовиться к литобъединению (Маяковский).

Дел — завались! А ведь хотел сегодня еще поработать над «Правдой».

После завтра — кружок. Нужно сделать очередную «масштабную» запись.

«Шапки» в газете на сегодня:
«В армию шагает двенадцатый год».
«Сбрую не починишь—пахать не подешь».
«В протоколе—решение, на улице грязь».

На пункте — был. Настроение — отличное. Явка стопроцентная. Годность — 86 процентов. В прошлом году — в эти же первые дни было 68 процентов годных.

Идет отборный народ — партийцы и комсомольцы. Говорил с врачами. Доктор Свистовский уже четвертый год проверяет наших призывников. Он делает радостный вывод: нет больше нервнобольных, туберкулезных, венериков. Победа колхозного строя сказалась и здесь.

Выбритые в колхозных парикмахерских, вымытые в колхозных банях проходят перед комиссией призывники. Пока самым здоровым, самым крепким призывником единодушно признан слесарь нашей МТС, комсорг мастерской Саша Казанский.

Со школьными ребятами сделали интересный опыт. Мы решили проверить, как знают они «бывшие» слова: «архимандрит», «жандарм», «столоначальник». Кто по их мнению «штабс-капитан»? Что такое «сочельник»? «Литургия»?

Задали мы им тридцать слов. Из разговора ничего не вышло. Слишком много шума и крика. Пришлось предложить каждому записать свои соображения.

Было так:

— Ну, герои! Вы уже народ серьезный. Как никак 3-й и 4-й класс. Книжек уже наверное много прочли. А вот про генерала вы что-нибудь знаете?

— Знаем, знаем — это враг!

— Это был крупный полицейский.

— Я скажу, я скажу!

— Это... вот, который тогда был руководитель фабрик.

— Нет, нет, вовсе и не так! — А, ну, Аркаша Янкин!

---

[1] Газета „Трактор" по радио.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

1919 год
ОКТЯБРЬ
2
ЧЕТВЕРГ

Налет аэропланов Юденича на Кронштадт.
8-й съезд Советов Петербургской губернии.
Гибель командира N-ской бригады С. В. Чиколлини в бою под Глуховым.
Мобилизация коммунистов Москвы, Петрограда и других городов на Южный фронт.
Районные собрания рабочих и работниц Москвы по поводу наступления Деникина.

— Генерал, это руководитель белых. Вот еще Врангель был и Деникин!

— Хорошо. А про жандарма слыхал кто-нибудь? Кто это?

Они гудят, раздумывая над непонятным словом. Откуда им знать?

— Это фашист! — кричат.

— Да, это такой крупный фашист,— хмурится Шура Блескина.

— И еще, он бил крестьян.

— Это был такой жадный человек и фашист который.

— А потом, это...

Расслышать их невозможно.

— Галдите вы, ребята, ужасно. Лучше напишите мне потихоньку, на бумаге, кто что думает про жандарма.

«Жандарм — это тот человек, который остерегал царские права, и вот, когда, до Октябрьской революции, взбунтуются, они нападают на рабочих», — пишет Ларя Дергачева.

— Ну, все догадались про жандарма? — и я пишу на доске длинное и совсем уж непонятное слово:

— Ар-хи-ман-дрит.

— Арм... Ахри... Ахмидарит... Ой!..

Им смешно, и непонятно, и досадно на такое трудное слово.

— «Ахмидарпит — это такой опасный, хищный зверь», — старательно выводит Коля Юдаев.

— Вот и неверно — шепчет, заглянувшая ему за плечо, Нюра Горшкова. «Армхидарпит — это такой крупный царь».

Не повезло и следующей в нашем списке вслед за «архимандритом» — «литургии».

«Литургия — это такой киоск, который имеет много литературных книг» — пишет Нина Кренова из 3-го класса.

«Литургия — это та местность, где добываются полезные ископаемые» — решает Варя Приспешкина.

«Литургия — это что-нибудь, когда летают на аэроплане» — неуверенно догадывается тот же Коля Юдаев.

«Полезные ископаемые», «киоск», «литература», «аэроплан» — не плохой словарь у наших девятилетних ребятишек. А вот «литургия» им не к чему!

Спрашиваем у ребят, что они знают про сочельник.

«Сочельник — это в старое время был такой помещик-кровосос»,— решает Шура Блескина.

«Мещанин — это по мнению Вовы Приспешкина — человек, который кому-нибудь мешает.

«Деньщик — это человек, который,— как утверждает Надя Балашова, — работает в сберкассе».

А Варя Приспешкина сначала написала, что «чиновник — это который водится у богатых», а потом зачеркнула и крупно вывела: «Чиновник руководит почтой».

«Столоначальник — это заведующий столовой».

«Земство — это в земле звери».

«Драгун — это такой помещик-капиталист, который дрожит за свои фабрики и заводы».

«Штабс-капитан — это отряд на ледоколе».

Нужно эту беседу дать в газете на полосу. Ведь это «год рождения тысяча девятьсот двадцать третий». (Кстати — неплохая шапка!) Им, ведь, в тридцатом году не было и семи лет! Они, ведь, и полосок единоличных не помнят, что ж удивительного в том, что сочельник для них это «такой помещик-кровосос».

---

10 часов вечера:

Пора приниматься за «Правду».

Попробуем-ка сопоставить дела всесоюзные и старожиловские.

„Установлена телефонная связь Москва—Алма-Ата". Из Москвы можно говорить с „Казакстанской правдой".

А у нас вчера телефонизирован последний «бестелефонный» колхоз. Из Поповичей позвонил Тимохин и немедленно передал сводку по зяби. Сводку записал начальник.

Вообще телефон здорово помогает. Сегодня из Новоселок редактор «Бригадной» Филиппов передал целую подборку о потравах. В заголовке заметок мы уже пишем «Новоселки» (по телефону).

Впрочем, товарищ-редактор, смех-смехом, а телефоном вам заняться придется. Людей нужно приучить телефоном пользоваться. (Кстати! что-то Демин давно ничего не звонит).

В «Правде» пишут:

„Начата подготовка к строительству Волго-Балтийского пути. Грузы пойдут вдвое быстрее".

И опять совпадение! Президиум РИКа вчера утвердил проект Пронской электростанции. На нашей путанной Пронке, о которой и вспоминаешь-то только в разливы — в тридцать шестом году вырастет плотина. Станция осветит район.

Мы-то, правда, осветились уже сегодня.

Клуб был полон. О том, что монтеры кончили проводку, знали все. Село разделилось, большинство было за то, что «ни в жизнь не загорится». Скептиков возглавлял Михаил Васильевич Маркин, он уверял, что в полтора дня электричество нигде не пускали.

Побаивались и мы, в ожидании пока рассаживались собравшиеся, пока изгоняли курильщиков, пока откалывал русскую, опять малость перехвативший Михаил Васильевич, пока кружилась в бесконечном танце Евдокия Янкина и неслись задорные и звонкие частушки.

Эх! Колхоз! Эх! Колхоз!
Веселое звание,
Мужикам коров доить,
Бабы на собрание.

По залу носился в очередном приступе паники — «где графин? Ну, куда же вы задевали графин?» — наш неугомонный завхоз Иосиф Маркович. Яша раскладывал конспекты своего доклада. В это время в мастерской запускали двигатель.

Наша председательница Ксения Ивановна Маркина поправила платок, переставила на столе предусмотрительно заготовленные «десятилинейки», и, поглядывая на часы, объявила:

— Наше торжественное заседание будем, товарищи, считать открытым.

Иван Иваныч хлопнул в ладоши, кто-то метнулся к выходу, где-то за клубом хлопнул мелкокалиберный выстрел, и, с опозданием едва ли в секунду, вспыхнули все двадцать три лампочки.

Зал сначала остолбенело замолк, а потом оглушительно захлопал.

«Главное — не мигает» — уверенно пробасил Гриша Калганов на весь умолкнувший зал.

Лампочки — малость подмигивали.

Завтра — освещаем типографию (не забыть: заказать абажуры, провести розетку к корректору, печатникам дать лампу с длинным шнуром).

В «Правде» заметка:

„С ноября усиливается воздушное сообщение по линии Красноярск — Красный север".

Воздушное сообщение по линии Москва —Старожиловская МТС—агитэскадрильи «Крестьянской газеты» — за последнее время усилилось до крайних пределов.

Сегодня в Старожилово, когда подъезжали уже к военкомату, спустилась серенькая «Уточка» — У-2.

Сбежался к площадке народ. Задирали головы, махали платками и шапками. Но когда самолет сел — старики и те пожали плечами.

— Ты чем это, Иван Семеныч, недоволен? — спросил я Андрианова, — не нравится, что ли?

— Да понимаешь, товарищ Хольцман, — отвечает, — мы думали настоящий самолет прилетит, а это что...

Он оглушительно высморкался и добавил:

Семнадцатилетние

Фото Берлина.

— Мне, старику, и бежать было не зачем.

Оказывается, настоящий самолет это «который закрытый, алюминиевый и со своей уборной».

„На Абзелиловском прииске найден самородок золота весом около восьми килограмм. За последние месяцы найдено шесть самородков".

Насчет золота у нас ничего не выйдет. А вот самородок другого рода сегодня нашелся.

Распечатал конверт, гляжу: частушки:

Серебристая водичка
Обернется зимой в лед,
Скоро буду я медичкой,
Милый в армию пойдет.

До выпуска сборника осталось полторы недели, за последние дни мы получаем по 10—15 писем с частушками, так что я даже отложить хотел чтение до вечера.

Так и отложил бы, если б не прочел первые строки. Вот это находка. Откуда такое чувство ритма, такая сделанность каждой строки у восемнадцатилетнего серпемовского парня Вани Антонова.

Впрочем, чем же хуже сорокалетняя наша поэтесса Зинаида Тихоновна Воробьева, которая пишет стихи дома «пока щи закипают»?

Разве плохо написала она на такую незавидную тему, как борьба с мышами?

А Василий Федорович Курбатов с его последним «циклом стихов-разговоров»?..

А едва ли не шестидесятилетний Пузанков, который сегодня принес здоровенную конторскую книгу, всю, поверх старых бухгалтерских записей, исписанную поэмами и стихами.

В нашем литобъединении сорок таких «самородков».

Сегодня в рядовой селькоровской почте мы получили девять писем с частушками, три стихотворения и очерк Сережи Бирюкова об изобретателе Миронцеве.

«Правда» собирает со всего Союза информацию о культурной революции. Вот, например:

„Партком Харьковского тракторного завода решил созвать конференцию партактива для обсуждения произведений Салтыкова-Щедрина".

Год назад я бы позавидовал: сидишь, мол, в деревне, в Рязани косопузой. А сейчас даже и не завидно!

«Сергей Феоктистов и Дон-Кихот Ламанчский» — хоть завтра можем дать такую полосу.

Любимая книга букринского комсорга Феоктистова — именно «Дон-Кихот». «Дон-Кихота» он цитирует в своих выступлениях. А Варя Афонина, в четвертый раз перечитывающая «Евгения Онегина»! А Сережа Бирюков, прорабатывающий «описания чувств» в «Анне Карениной»! А Маня Штукатурова и «Мертвые души»! А ее брат Федька, — прочитавший за этот год и «Петра I» и «Поднятую целину», и «Американскую трагедию» Драйзера, и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова!

Наконец, букринская самодеятельная библиотека, которую собрали ребята из своих собственных книг, чем она хуже опытно-показательной библиотеки, которая, как пишет «Правда», открылась в мясосовхозе им. Фрунзе?

„В 4-м квартале этого года в коммунальное строительство городов Украины вкладывается 58 миллиона рублей. Будет построено и заселено 600 000 метров новой жилищной площади".

В строительство нашего двухэтажного Дома культуры вложено 40 000 рублей.

Рядом с ним выстроился колхозник Маркин. Против него — Илья Драгунов.

Что если потолковать с хозяевами этих и десятка других новых домов? Что, если показать воплощенной вековечную мужицкую мечту о хорошей стройке, которая пришла к ним только с колхозами?

Или взять пять-шесть букринских или гребневских стариков и отправиться с ними в экскурсию по их селу.

Пусть они расскажут, что было вот здесь, где на пустыре выросла новенькая колхозная конюшня, какой кулак жил в помещении колхозных ясель, дом какого трактирщика превратился в избу-читальню, как изменилось село...

Только что позвонили из тех же Поповичей. Остановилась молотилка. В снопе какие-то мерзавцы спрятали гирю.

Это, за последние дни, третий случай.

Успокаиваться, выходит, не приходится. А здесь, вот, бдительности не хватило. Что за человек — подавальщик? Кто стоит на скирду?..

Выеду завтра, постараюсь с утра.

„На Камском бумажном комбинате, — пишет „Правда“, — состоялась торжественная закладка огромного каменного дома на 200 квартир. Жилая площадь дома 12 000 квадратных метров“.

Таких домов у нас еще нет. Ну, что ж! В этом и заключается величие нашей системы: между первенцем будущего города — домом-гигантом в Перми и новым двором Старожиловского колхозника, — единая и такая крепкая связь!

Радиотелефон Москва—Алма-Ата и телефон, установленный сегодня в Поповичах, Волго-Балтийский водный путь и плотина на нашей Пронке. Авиалиния в Сибири — и самолет агитэскадрильи, залетевший к нам, в один из тысяч районов. Новый перегон магистрали Москва—Донбасс и новый мост на Гребневской дороге, — все это звенья одной нерушимой, неразрывной цепи.

Со всех концов Советского Союза собрала свои сообщения «Правда». Оказывается, немало дел и на нашем конце, в нашем Старожиловском, но ведь тоже по-своему — грандиозном, масштабе...

В разгар уборки на колхозно-крестьянских полях страны ЕЖЕДНЕВНО скашивается урожай с 1730 гектаров — территории равной половине Голландии.

Почти половина этой гигантской работы выполняется тракторной тягой.

На нефтепромыслах Союзфото

все спокойно

А. Письменный

Ветра в этот день не было и вышка, когда останавливалась лебедка, не скрипела. Гаджи Иманов следил, как навертывают расширитель. Еще небольшой рывок ключа, и из резьбы, сомкнувшейся до отказа, выползла смазка. Она была черная и только потому не походила на кровь, проступившую из пореза.

— Сегодня я пойду в баню, — сказал Иманов, буровой мастер.

Бурильщик Жогин улыбнулся, пустил лебедку, колонна, дрогнув, устремилась вниз.

— Неужели пойдешь?..

— Пойду, — повторил Иманов.

Жогин подмигнул тормозчику.

— Какой в бане телефон?

— Ну-ну, — сказал Иманов, — зачем телефон? Сегодня все спокойно, — и недоверчиво посмотрел на рябящее скольжение колонны.

— Голышом прискачешь, — засмеялся тормозчик Назаров.

Назаров называл эту скважину «дыркой с сюрпризами». Это была на редкость капризная буровая. Гаджи Иманов пробурил на своем веку не один десяток скважин, но такой, пожалуй, не приходилось бурить.

Они пробивались к семнадцатому пласту, богато насыщенному нефтью. На пути два раза попадались камни, и долотья срабатывались в двадцать раз быстрей положенного срока. Затем показалась вода, гибельная для скважины, но ее довольно легко удалось отжать. И, наконец, девять дней назад, на глубине 873 метра ушел глинистый раствор.

Это случилось днем. Гаджи Иманов сидел в культурной будке и курил, ковыряя перочинным ножиком в часах. Пружина была цела, но часы стояли. Вошел Ванесов, мастер буровой 1115, коренастый мужчина с широким, бордовым лицом.

— Сыграем? — предложил Ванесов.

Иманов закрыл часы и, доставая ящик с шашками, спросил:

— Как дела?

— Эксплоатационники труб не подвозят... — Ванесов выругался, смешно коверкая известные слова.

— Бить их надо.

Шашки были сделаны из какой-то каменистой массы, красные и черные, ими можно было хлопать во всю.

По стенам будки висели плакаты: «Ограждай себя от брюшного тифа». «Не работай с неподвязанной шлангой». Каждая надпись иллюстрировалась рисунками, полыхающими огнем и кровью.

Иманов проходил в дамки. Оставалось два хода. Но тут распахнулась дверь и влетел Назаров.

— Циркуляция уходит! — заорал он.

Гаджи вскочил, задел доску, — шашки полетели на пол, — и грохоча сапогами, понесся по мосткам к скважине.

Вращательное бурение производится при помощи полых бурильных труб, наращиваемых по мере углубления одна на другую.

На верху буровой вышки установлен кронблок. К нему на длинном канате подвешен талевый блок, соединенный с вертлюгом. К верхней неподвижной части вертлюга подвешена шланга, по которой насосы гонят в бурильные трубы глинистый раствор. Нижняя часть вращается вместе со всей колонной. Вращение колонны производит ротор, круглый стальной стол, в центре которого зажимается квадратная труба, подвешенная на вертлюге.

Глинистый раствор подается во время бурения непрерывно. Он выносит разбуренную породу наверх, глинизирует стенки скважины, предохраняет их от обвала. Он создает в скважине давление, сдерживающее давление газов и пластов. Без непрерывной циркуляции глинистого раствора бурение невозможно.

Иманов подбежал к ротору. Ротор вращался. Буровая стонала — все было в порядке, и только манометр выдавал несчастье: стрелка его опадала, как обугленный кончик горящей спички.

— Второй насос, живей! — закричал Иманов бурильщику.

Он сам бросился к насосам. Насосы давали двадцать литров в секунду, но циркуляция не восстанавливалась. Глинистый раствор уходил, точно в прорву.

Стали добавлять в раствор известь, пробовали давать цемент, чтобы увеличить вязкость, но проходила вахта за вахтой, а проклятую щель не удавалось закрыть. Каждую минуту порода в скважине могла обрушиться. Иманов ждал этого, и в буровую втащили аварийные инструменты — «колокол», «метчик» и «овершот».

И действительно, в ночную вахту в скважине обрушилась порода и прихватило инструмент. Буровая партия уже готовилась к долгой осаде, но Жогину утром посчастливилось. Он повернул инструмент и поднял его из прихвата. В ту же минуту произвел выброс: из устья скважины ударил рыжим хвостом раствор и окатил вахту. Все эти дни Гаджи Иманов проводил на буровой, иногда по трое суток не показываясь дома, спал урывками в будке за столом, положив голову на руки.

Привычка работать в белом воротничке, которой он заразил всю свою партию, была забыта. Буровая была в грязи, и он был грязен, как чорт, отросла борода и в волосах было полно песку и грязи. Каждый день он говорил себе: «Завтра помоюсь». Дома давно уже лежал сверток с бельем и мочалкой.

Профессия бурового мастера отчасти сходна с профессиями моряков, звероловов и полярных летчиков, со всеми теми профессиями, которым присуща авральность и нерегламентированная борьба с природой.

Рабочее время бурового мастера ненормировано. Он один руководит тремя вахтами. Он один отвечает за буровую. В дни спокойной работы, например, при начале бурения, это свободный человек. Он может придти к двенадцати, а уйти в три, чтобы лишнее время поспать или сделать сыну самокат на подшипнике. вечером он пойдет в клуб или поедет в театр. На буровой спокойная налаженная работа.

Геологический разрез многочисленных пород, похожий на солнечный спектр, не дает однако точного предсказания событий, которые ожидают человека, ворвавшегося в глубину земли. Бурильщик знает, что на такой-то глубине лежит известняк, на такой-то желтая глина, а на глубине 1358 метров идет нефтяной пласт, — цель его подземного странствия. Больше он ничего не знает. Какова насыщенность газом нефтеносных пластов, нет ли камня на пути скважины или прорвы, в которую уйдет глинистый раствор, — неизвестно. Техника пока не в состоянии предусмотреть все многообразие случайностей в ведении буровых работ и изменить авральные свойства профессии бурильщика.

Когда врывается случайность в нормальный ход бурения, буровой мастер обязан быть на скважине и, если его нет, его поднимут по телефону с кровати, вытребуют из театра или из бани. Отвечает за скважину он и больше никто.

Второго октября скважина утихомирилась. Ночью было окончательно закрыто место ухода циркуляции и опущено 350 метров обсадных труб. В утреннюю вахту начали опускать инструмент для расширения скважины. По левой стене вышки стояли «свечи» — двадцатичетырехметровые бурильные трубы. Бурильщик лебедкой приподнимал очередную свечу, рабочий захватывал ее крючком и, упираясь, направлял ее к колонне. Назаров смазывал коническую резьбу тавотом.

На подмогу подбегал Жогин, бурильщик, и втроем, обегая ротор, они привертывали ключами висящую свечу к опущенной в скважину колонне.

Вахта работала быстро и сноровисто. Движения были так распределены и заучены, что казались рефлекторными.

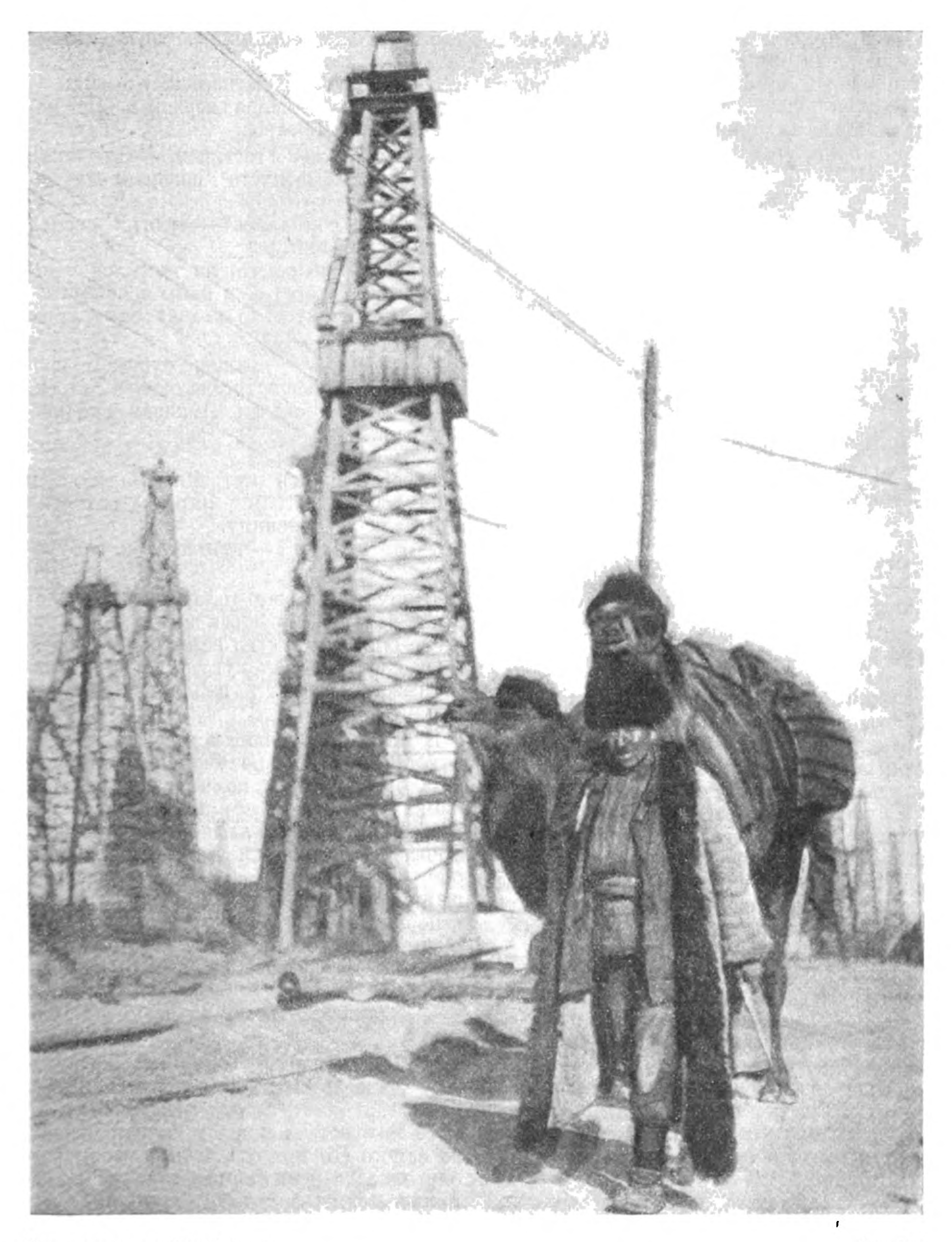
Сквозь грохот доносилось пение Усейна. С голубятника — верха буровой вышки — ему были видны грязное море, отсвечивающее, как перламутр, в глубине берега черный мазут в открытых амбарах и плоскокрышие дома у подножия горы, вогнутой, как корыто.

По долинам, по загорьям
Шла дивизия вперед...

пел верховой и Иманову совсем не хотелось уходить.

Жогин отпустил тормозной рычаг на лебедке, и колонна стремглав понеслась вниз. Назаров взял брандсбойт.

— Ты пойдешь в баню? — спросил он угрожающе и пустил воду. Мастер показал ему кулак, увертываясь от брызг, и выбежал на мостки.



Буровые вышки Лок-Батана Союзфото

— Чорт! — он ругался смеясь. Назаров не обращал внимания. Он обдавал струей ротор, пол буровой, бил по «юбке», которая звенела, как ведро. Грязные потоки проваливались сквозь щели пола.

Иманов показал в угол, где висел телефон, и заорал бурильщику:

— Звякнешь в случае чего.

— В баню?

Мастер грозно вздернул головой и пошел за бельем.

Жена у Иманова была русская, с Дона. Донские женщины темноволосы, сероглазы, плечи у них высокие, походка плавная. Гаджи хлопнул жену по спине и сказал:

— Кончал базар.

— И ночевать будешь дома?

Он усмехнулся, подмигнул ей и взял белье.

По дороге Иманов вспомнил, что сегодня должны привезти новый кронблок, советского производства. Пыхтя, приближалась кукушка. Она ползла медленно. Гаджи легко вскочил в задний вагон и протянул гривенник кондуктору.

— Восстановил циркуляцию? — спросил тот.

— Видишь, в баню пойду, — Иманов показал на сверток.

— Пора, пора, — заметила какая-то женщина с кошелкой, из которой торчала рыбья голова.

Иманов разозлился, но промолчал. На этой проклятой кукушке, как во дворе — каждый суется не в свое дело.

У конторы бурения он соскочил. Облегченный состав, казалось, прибавил хода.

— Тебе кронблок повезли, — задержал его инженер у входа.

— А я хотел подогнать...

— Иди, подгоняльщик. Это что в свертке?

— В баню собрался. Белье.

— Пожелаем легкого пара.

Иманов потоптался на крыльце и пошел к буровой.

Возле конторы было открытое место — до моря. Гудел ветер. Начиналась жара.

Издали он увидел тракторы. С ловкостью наездников трактористы развертывали машины на крутом повороте дороги. Они гарцовали, осаживали машины, меняясь местами. Один трактор вылез вперед, другой, свернув в сторону, оттягивал кронблок за собой. Затем, видимо, направив кронблок правильно, он отцепился и побежал вперед и вдвоем шестидесятисильные «сталинцы» потянули агрегат по дороге.

Буровой мастер нагнал их у вышки. С голубятника свесился верховой. По мосткам обегал Назаров.

— Принимай гостинец, — закричал тракторист, фасонисто поворачивая тягач.

— Чего сбежались? — сердито сказал Гаджи тормозчику.

— Ты в амбаре что ли вымылся? — ответил ему Назаров, — в баню человек пошел... — презрительно сказал он трактористу.

Кронблок был крашен суриком, громоздкий, как телега, арсенал колес и стоек.

— Ладно, — сказал Иманов, — сколько опустили?

— Все там...

Буровой мастер отстранил Назарова и двинулся к мосткам. Парень обхватил его сзади за поясницу.

— Не пускать? — крикнул он в буровую.

«Приучил на свою голову, чертей, — подумал Иманов, — человек десять дней в бане не был, так они из него воду качают».

Он снова поймал кукушку. За вагонами бежали ребята и цеплялись к буферам.

В баню мастер попал довольно поздно и когда разделся, почувствовал сильную усталость. С ним поминутно, на трех языках — тюркском, армянском и русском, здоровались голые люди. Пахло в бане моченой бумагой — кислый запах. Иманов обменял одежду и сверток с бельем на шайку с намалеванным номером и пошел в парильню. Здесь ему вскоре захотелось пить, квас продавали в предбаннике, но, услышав интересный разговор, Гаджи не пошел за квасом.

— Значит по-твоему он не умеет работать?

— А по-твоему?

— Да ведь он до двенадцати ночи работает!

— Вот, вот. А когда угнали в отпуск, до самого его приезда, целый месяц разбирали дела — ни чорта без него невозможно понять.

«Здорово наворотил», — подумал Иманов. Но в разговор не вступил.

Кровь приливала к вискам. Гаджи

Насадка долота перед началом буренья

Союзфото

слышал ее постукивания. Он вышел в мыльню и, наклонившись над шайкой, мыл голову.

На ум пришла простая вещь — надо спросить, о каком человеке разговаривали те двое, чем тот человек занимается. Иманов резко выпрямился.

— Лохматый дьявол, — послышалось сзади. Обмыленный человек смотрел на Иманова злыми глазами. Гаджи обрызгал его.

Но в парильне уже никого не было, вопрос остался без ответа.

В предбаннике Иманов увидел Ванесова. Буровой мастер сидел в подштанниках и внимательно рассматривал свои руки, — руки с пальцами неестественной толщины и ногтями, желтыми и твердыми, как кремень.

— Как у тебя это случилось? — спросил его Иманов.

— Ударил, вот и все. Не могу на промысле показаться...

— Ну, ну, — сказал Иманов.

— Весь авторитет замаран. У меня — фонтан! — Ванесов поднял руки, приглашая потолок, покрытый капельками пота, в свидетели.

Иманову захотелось спать, и он сквозь сон слушал рассказ Ванесова о том, как на его буровой ударил фонтан.

— Скажи пожалуйста, я добуриваю цементную пробку, скважина завтра даст нефть. Нужны эксплоатационные трубы? Дозарезу. Я сказал раз, я сказал другой. Эксплоатационники не везут труб. Семнадцатый пласт ты знаешь какой. Пробурил я еще два метра. Нету труб. Я остановил работу. Через два дня трубы подвезли, не успели мы пройти и десяти сантиметров, пробку прорвало и как...

Иманов знал «как»:

...как раздался рев оглушающей силы, и вырвался газ, как за ним поднялся фонтан песку, а затем на пятьдесят метров взлетел столб нефти.

Он слышал эту историю десятки раз. Он сам видел как рушилась нефть на землю и на сотни метров по ветру все становилось черным и сальным; и как скатился по лестнице верховой и через пятнадцать минут прибыли пожарные и охранные войска; и как плотники бросились обшивать вышку, и как отлетали доски и дребезжали стекла на всем Биби-Эйбате; и как заснувших от газа плотников вытаскивали на веревках; и как проело торцовую задвижку, массивный четырехугольный чурбан, и тряслась земля и оглушающе ревела скважина. Он знал это все. Ванесов особых новостей не сообщал и все жаловался на потерянный авторитет — фонтаны только нефтепромышленников радовали.

— Работать не умеем, — сказал вдруг Иманов.

— А? Что ты сочиняешь. Я виноват, что фонтан? — Ванесов рассвирепел. Лицо его сделалось фиолетовым. Он кричал громко на всю баню. — Это стихийное бедствие — фонтан. Землетрясение будет — тоже работать не умеем? Да?

Иманов смущенно оделся и свернул простыню.

На буровой опускали последние трубы. Было три часа. На вышку пришла сменная вахта. Прогудел гудок.

Назаров сказал:

— На вышке все спокойно.

Пекло солнце. Ветер был горячий, как песок. Бурильщики пошли купаться. Дорога вела мимо действующих скважин. Все здесь было черно от мазута. Кругом не было видно ни души. Насосы как бы сами по себе качали нефть, чавкая и вздыхая.

Вышки подходили к самому морю, и Усейн, скидывая рубашку, сказал:

— Следующую вышку нам дадут на берегу. Мы с голубятника будем нырять.

— Ныряло, — заметил Назаров.

Он входил в воду осторожно, как в темноту. Вода была холодная и обжигала, точно сельтерская. Назаров толкал ее коленями, бедрами, плечами, подняв руки над головой и ухая на каждом шагу. Усейн бросился в воду с берега, вода разлетелась перед ним брызгами, острыми и блестящими, как осколки. Рабочий топтался у берега и визжал. Море щекотало его. Он поднимал воду ладонями и шлепал себя по груди. Усейн плыл вперед. Плыл он неэкономно. Высоко поднимался из воды, размашисто хлопал по упругой волне.

— Физкультурник, — крикнул Назаров,— утопнешь...

День подходил к концу. На море зажигались зеленые и красные огни. Багрово-рыжая полоса, сантиметров двадцати в поперечнике, оконтуривала горбатый горизонт на юго-юго-западе.

Усейн вошел в клуб. Это было плоскокрышее здание, полное радужных расцветок внутри и гостеприимных веранд снаружи.

В длинном коридоре, гулком, как труба, Усейн встретил расфранченного Назарова. Тормозчик тащил какую-то девушку в кургузом пиджачке и спущенных носочках на веранду.

— Подожди ж ты, — шипела девушка. — Ты мне рукав оторвешь. Колька.

Назаров смеялся. Увидев Усейна, он сказал:

— Трубадур идет.

Усейн шел в духовой кружок. Он умел играть пока только «Интернационал», похоронный марш и польку, весь этот несложный репертуар торжественных шествий, будь-то демонстрация, похороны или свадьба, но музыкальные перспективы манили его. Он садился на стул в кружковой комнате, обвивал себя сияющими витками духового инструмента и дул, выпучив глаза, гремящие мелодии.

Жогин тоже увлекался музыкой. Он ложился спать после работы и, выспавшись, включал самодельный радиоприемник, который приносил ему танго из Праги и «Демона» из Москвы. Музыка приходила к нему кусками, пересыпанная писком регенерации.

— Дай дослушать, — сердилась жена.

Но охотник по эфиру вертел вариометр, в поисках Лондона или Варшавы.

Иманов жил на Баилове в двух комнатах, обращенных окнами к морю. Буфет был куплен недавно, но когда его везли на тележке из магазина, колесо поцарапало бок. Гаджи собирался подкрасить округлую эту царапину, но все не мог собраться. Сегодня он решил, наконец, сделать это, после того как прочтет «Бакинский рабочий». Гаджи еще раз посмотрел на чашки и на бутылку с уксусом, стоявшие на буфете — нужно ли их снимать?— и развернул газету. Вся первая полоса была посвящена выборам в советы. В публикации о количестве делегатов на VII съезд было указано, что Азербайджану предоставляется тридцать шесть мест.

Читая четвертую полосу, Иманов начал засыпать. Он успел только прочесть спортивные новости о закавказском легкоатлетическом соревновании и о водной эстафете, как крест и полумесяц с объявления о лотерее переехал на флакон спермокрина, помещенный рядом. Мелькнул анонс: на-днях «Чудесный сплав». Мастер подумал, что хорошо было бы кончить скважину к премьере и заснул.

Он заснул за столом, над газетой. Жена тихо убирала посуду. Был вечер.

На буровой дрожали лампочки. Роторный стол вращался с адским грохотом.

Рабочий, отдыхая, кидал на него шарики из глины, они, поплясав секунду, стремглав слетали на пол, как с чортова колеса.

Неожиданно в скважине раздался рев. Рев был так силен, что перекрыл грохот ротора. Бурильщик побледнел. Тормозчик испуганно взглянул на него и бросился к телефону.

— Алло! — заорал он в трубку, — давайте квартиру Иманова.

— Даю,— ответил спокойный голос телефонистки, точно с другого конца планеты. Парень отнял трубку от уха. Скважина молчала. Он снова посмотрел на бурильщика. Тот махнул рукой. Тормозчик почесал переносицу и нерешительно повесил трубку.

Телефонный звонок из буровой разбудил Иманова. Он настороженно поднял голову. В глазах, сдавленных во время сна, был туман. Жена с ненавистью посмотрела на аппарат — хоть бы он испортился. Гаджи вскочил, стул упал.

— Слушаю, — закричал он, — Алло!

Еле слышно пело радио. Потом в трубке щелкнуло и загудело — провод был свободен.

— Ну? — жена подняла стул и держала его за спинку.

— Чорт его знает... — Иманов зевнул, подумал и потом, виновато обняв жену, сказал: — ты не того... Я только минутку. Честное слово — погляжу — и назад. Ведь это такая проклятая скважина.

Советские нефтяники

добыли

2-го ОКТЯБРЯ 1934 года

67 100 ТОНН нефти.

Этого топлива хватит с излишком 355 автомобилям, снабженным дизель-мотором „Коджу", чтобы проехать 750 000 километров, т. е. расстояние от земли до луны и обратно.

ОДНОДНЕВНИК

Ксении Кузьминишны Орловой, проживающей в с. Ясенок, Ухоловского района, Московской области

Обработал В. Аверьянов

Рисунки И. Кузнецова

..Посылаю вам однодневник моей жизни. Я сначала не знала как писать. Как, думаю, можно в один день уложить всю биографию. Но наша учительница тов. Шаширина объяснила, что надо написать дневник одного дня. Я и взяла один день, да записала все что было, а она потом поправила.

Только интересно, почему вы обратили внимание на мою личность? У нас есть не такие активистки, как я, а даже с развитием, а я только в 1930 году прошла ликбез. Интересно, почему так? Ответьте.

Домашность наша деревенская — самое проклятое дело. Дела по горла, а что сделано не видать. Встала я нынче часа в четыре, оделась, умылась, пошла за водой. Два ведра принесла, разлила по чугунам — надо воды для скотины. Опять пошла. Принесла еще два ведра. Напоила корову, овечек (четыре овцы у меня), подбросила мякинки—доить пора. Подоила, понесла процеживать в избу. А у бабки печь во всю полыхает. (Бабка—покойного мужа мать, старушка, живет со мной). Старуха с тестом для пирогов копошится, блины подбивает. Ну, я процедила молоко, поставила в печь картовь поросенку парить, опять на двор. Корова-то ведь не убрана стоит, на вымя навоз налип, насилу отодрала, когда доила. Разве это порядок, разве это допустимо, чтобы в хорошем хозяйстве так было? Зажгла я фонарь, взяла вилы, да и ну сама сгребать навоз, да выкидывать. Кто мне, одинокой, сделает? А бабье ли это дело? Нет счастья мне на мужиков. Сгребаю я навоз, а у самой руки ноют, спина взмокла, и разбирает меня думка:

— И что за человек я такой несчастный, думаю?

Живу как гриб заплесневелый и никому я не нужна, выходит, и нет мне подмоги ниоткуда, и за все обо всем сама заботу держи.

А тут как раз выходит бабка и кричит:

— Дров-то чего не несешь? Разве я чурками испеку пироги? Прогорела печка-то! Чего стоишь!

А где я дров-то возьму? Саженные плахи лежат не распилены. Папаша (отец мой) обещался на праздники приехать по хозяйству подсобить — не приехал. Делать нечего, взяла топор, начала рубать жердочки, которые у макушки потоньше. Нарубила охапку, отнесла, а там опять за вилы. Стою, ковыряю, а внутри все дрожит. Ладно, кончила, постелила соломки, пошла в избу. Вошла, глянула, и упало совсем мое сердце. Беспорядок кругом невозможный. Бабка у печки стоит, блины печет, а на полу под ногами и вода налита, и сор всякий, и кожура картофельная. А тут поросенок еще под ногами юлит, да грязь разводит. И чувствую, закипает во мне еще

большая злость какая-то. И ударила я тут поросенка ногой.

А ведь сама понимаю, поросенок тут ни к чему, а со старухи что взять — семьдесят лет. Сжала я тут сердце свое, схватила тряпку и начала пол подтирать. Только сказала:

— Поаккуратнее бы надо, мамаша. — И уж было за веник взялась подметать, как встает с сундучка моя дочка Валюша (а я думала спит), берет у меня веник из рук и говорит:

— Мама, давай я сама подмету, а ты самовар ставь.

И тут сразу вроде опали мои нервы и от сердца отлегло. Какая от девчонки помощь, а то — радость, значит, понятие имеет дите и к матери жалость.

Давай скорей за самовар, налила воды, поставила, кинулась постель убирать. А Гришутка не спит (сынишка мой девяти лет, во втором классе учится), валяется, а ножонки грязные.

— Это что, говорю, постреленок, почему с грязными ногами на белую простынь завалился? Разве мать настирается на вас? Разве вас тому в школе учат?

Ну и отшлепала. А Валюша поддразнивает:

— Он, мама, вчера и зубы мелом не чистил... Я ему говорю, а он дразнится... Он и уроки вчера не учил.

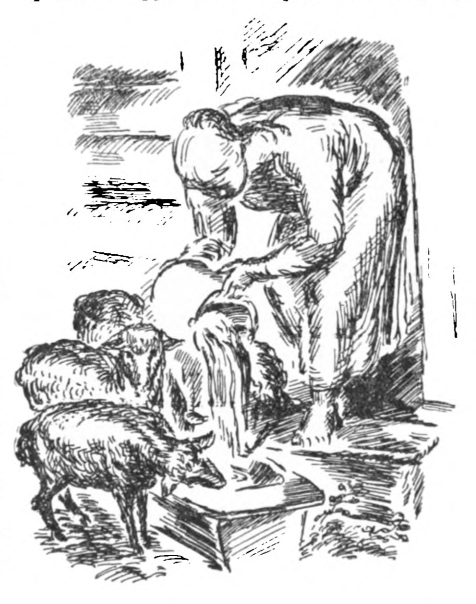
— У, врушка. Что болтаешь. Нам по арифметике и не задавали ничего, — это Гриша отвечает. Они вздорят, а мне любо, потому знаю, для кого живу, для кого работу делаю. Прибрала с дочкой избу скорехонько, навели чистоту. В избенке хоть и повернуться негде, зато не в грязи живем, культуру соблюдаем. Помогла бабке заделать пирог с картошкой да с огурцами, тут и самовар готов.

— Гришка, говорю, одевайся скорей. На вот рубашонку чистую надень. Время-то восьмой час.

Ему в школу к восьми надо, а девочка у меня, в пятом классе учится, она во второй смене, к часу ходит.

Ну, поставили самовар на стол, бабка блины подала с кислым молоком (блины мягкие, как яичные, на овсяной муке со ржанкой сделаны). Ребята окунают блины в молоко, да в рот. А бабка, чудная она у нас, как за стол садиться, так про большевиков молитву шепчет, да крестится, что вот-де на старости лет довелось не из чужих рук, а своего беленького кушать.

Что ж, я хоть и без мужика, а сто тридцать трудодней выработала нынче,



двадцать пять пудов пшеничной, да тридцать пять ржаной получила. А бабке в диво это. Она тоже вдовой осталась с детьми, да всю жизнь промаялась, то батрачила, то по миру ходила.

Да, забыла записать, когда навоз убирала, бригадирша забежала, велела чтоб завтра стенгазета была готова. Ну а мне что? Я пять заметок собрала уж, в обед пойду к учительнице, она оформит мне. (Я редактором бригадной газеты считаюсь. Эх, сколько из этого дела врагов нажила, сколько неприятности получила!)

Ну, отзавтракались, Валюша посуду моет, а я в дневник записываю. А Гришутка ко мне:

— Мама, дай денег тридцать копеек, надо карандашей цветных купить.

А у меня и нет мелочи. Есть двадцать бумажкой, на калоши ребятам отложила, все привезти обещают в кооперацию.

— Нет, говорю, у меня мелких... Двадцатка только.

— Я, говорит, тебе сдачу принесу.

Дать, думаю, потеряет... Не дать—перед другими ребятами зазорно будет.

Ну дала:

— Не потеряй, говорю, только.

Потеряет, думаю, без калош останутся. Ушел он. Смотрю, Валюша моя берет тетрадку и начинает немецкие буквы писать.

— Валя, говорю, скажи мне какое нибудь слово на этом языке. Она мне не задумываясь, сразу:

— Дерфатер, дермутер.

Эх, думаю, мои ли это дети? Ведь самая что ни на есть низкая беднячка была, а теперь мои дети какие науки изучают?

А самой плакать хочется, не то от радости, не то от печали, потому как услыхала я эти немецкие слова, так вспомнила Генриха, как он ребятам разные слова по-немецки лопотал, как он...

Сердце наше женское... Ладно. на мой характер — поставлена точка, пусть и стоит.

А на улице светло совсем. Пора и мне на работу бежать.

С работы пришла я в шестом часу. Ребятишек нет. Гришутка наверное у соседей, а то с ребятами на воле, дочка из школы не воротилась еще, а бабка на печке лежит и стонет. Пришла, поставила самовар, а сама опять за дневник села, значит. записать, что на работе за день случилось.

Ну вот, как теперь время осеннее, полевые работы кончились, то мы теперь капусту убираем, рубим в колодах, солим и в бочки закладываем.

Работать начинаем как на улице светло, часов с восьми и дотемна, часов до пяти. Работаем мы в риге, за большой колодой, два звена неполных — десять баб.

Пришла я к восьми, ну может минут на пяток запоздала, не больше, а бабы на меня навалились:

— Ты что это, краше всех что ль, последняя-то приходишь?

— Она общественные дела справляет, а мы работай за нее.

А Елена Очкина, которую муж постоянно бьет, и говорит:

— Она за то и премии получает, а мы нет ничего.

Взорвало меня тут. Что ж, думаю, я неделю с бригадой по вечерам по дворам хлюстала, мясопоставки собирала, (за хорошую работу мне десять рублей премии дали), а мне в укор ставят?

Однако, сдержала я себя, потому не могу из себя воображать чего-то и себя против всех выставлять. И только сказала:

— А полноте вы, бабы, по пустякам-то.

И со всем старанием взялась за работу, начала таскать вилки, кочни обрубать, да в колоду кидать. Кто два вилка обчистил, а у меня три готово. Ну тут и видно, что я по работе не только догнать, а и обогнать могу каждую.

Когда навалили колоду и стали рубать, я и говорю:

— А надо бы, бабы, попроворней работать, так, чтобы заработать не меньше восьми соток. (А норма у нас тридцать соток со ста ведер, а там сколько сработаем).

Настя Караухова, моя подружка единственная (вот человек — никогда она не унывает, всегда-то веселая, песни поет) поддержала меня:

— И то, за три сотки и выходить не стоило.

А тетка Дарья, Жиганихой ее зовут, которая в прошлом году, таз из бани украла (ее пропечатали в газете, и она лучшая ударница стала) тоже говорит:

— Поскорей управимся, скорей свободней будем.

А Настя моя взвизгнет, да такую частушку завела, что и писать стыдно. Ну, тут смех, все вроде как оживились, домашность вся отошла на задний план и работа спорилась. Что ж, каждая старается сработать поболе, особенно наше третье звено. Про нас так и говорят:

— Ваше звено какое-то дикое, вы всегда поверх плана идете.

Ну, стукаем тяпками, да песни поем. А песни всякие у нас, а больше поем «Бедная девица, горем убитая», а то «Я любила его разговоры». Новых песен не знаем мы.

Вдруг Жиганиха и говорит:

— А у меня вчера зятек в Ухолове на базаре был. Так какое дело произошло!

— Ну? Что такое?

— А дело такое, человек в одночасье помер.

— Ну, отчего ж это такое?

— А вот отчего. Купил ветчины, начал жевать, да поторопился видно и сглотнул не прожевавши. А она и застряла посередь торла — ни взад, ни вперед.

Бабы удивляются, ахают, охают.

— Да, чего делать — в больницу повезли. Привезли в больницу, приставили зеркало, а у него и, дыханья нет, кончился.

— Вот дело-то какое!

— А доктор-то и говорит: кабы если бы, говорит, пальцем догадался кто протолкнуть, ну и спасли бы человека. А теперь погиб.

Раз одна рассказала, другой не умолчать. Так друг по дружке и высказывают, что на ум придет.

Они говорят, а я думаю — а ну, как Гришка да потеряет двадцатку? А то из парней постарше кто и выманит у ребенка? Ведь без калош ребята останутся. И впору сама бежать в школу. И, конечно, другие разные думы набегают! — постирать бы надо, да почему папаня не приехал, да завалинка не обземленная стоит, а вдруг холода завернут?

И тут слышу Лиза Мишукова (ох, бойкая девка, завлекательная) говорит:

— А наш Афоня опять вчера распьянешенек был... Идет ночью по улице и матюкается.

Афоня — наш председатель сельсовета. Грубый, невоздержанный человек и пьяница к тому. Не даром и прозвище ему дали: «В бога мать».

— А ему только и дела. Бывало прежде в нем заискивали, поили... А теперь он в избирателях заискивает, сам поит... И так пьян, и этак пьян.—Это Анна Павловна говорит, аккуратная, серь-

езная женщина, не молодая уж. Сын у нее один в Москве слесарем работает, а другой председатель колхоза в соседнем селе.

— И неужели опять его выберут?

— А нам что, кого не поставь, только правь. Власть она и власть. — Это Елена Очкина говорит, которую муж бьет. Она вроде как туповатая какая. Я и говорю ей:

— Слова у тебя вроде настоящие, а не поймешь, к чему плетешь.

А Жиганиха перебивает:

— Он-то еще ничего, он только дурашный. А вот секретаришко у него кобель проклятый... В нем весь вред.

— В дезертирах был, а теперь до власти дошел.

У меня на Афонина была большая злоба, и сказала:

— Разве, говорю, правильно поступает он, когда женщине безмужней снисхождения не оказывает? Кому избу отдал, у кого мужики в доме, а мне отказал.

А тут Настя и говорит:

— Вот мы всегда так по углам шепчемся, а на собрании слова сказать боимся. Почему вчера на отчетном собрании молчали? То-то вот?

— А сама-то что молчала?

— А что я-то, лучше вас что ль? Такая же дура, как и все.

Анна Павловна тогда и скажи:

— Нам бы женщину какую в председатели выбрать надо. У нас и село-то женское, баб-то, поди, вдвое больше мужиков.

Очкина опять выскочила:

— Уж не нас ли с тобой посадить?

— Есть и подельнее нас с тобой. Из другого места могут прислать.

А Настя и шепчет мне:

— Ксюша, а что если нам про Афонина в газете написать? Как ты думаешь?

А я и ответить не знаю что. Написать легко — а вдруг не выйдет ничего. А вдруг опять Афонин в председателях останется? Как быть тогда? Ведь я какого врага себе наживу? И, подумавши так, говорю ей:

— Давай Марфу Севастьяновну спросим (бригадиршу нашу).

Кончили первую колоду, сорок два ведра нарубили. Заложили другую. Входит бригадирша наша, Марфа Севастьяновна. Вот это активистка, вот это женщина! А ведь тоже из простых, из бедняцкого класса. Никогда-то не закричит ни на кого, никакой несправедливости, а все боятся. Зато всегда тебе уважение окажет, если заслужил. Вот ее бы описать-то.

Входит в ригу Марфа Севастьяновна, а за ней следом Оловянников, плотник, он все больше в отходе, на торфах работает. Идет за бригадиршей и лошадь просит, за невестой ему ехать надо в Самодуровку за двенадцать верст.

— Нет у меня лошади, — говорит бригадирша. — Иди у правления проси, у меня все лошади в наряде.

— А правление к тебе посылает, у тебя, говорит, есть.

А она повертывается к нему всей тушей своей и говорит:

— А и была б, все равно не дала. Помнишь я у тебя ось просила для телеги поделать? Ты мне что тогда сказал? У меня день пропал, а тебе работы на полчаса было?

— Меня лихорадка трепала тогда.

— Лихорадка? По деревне с гармошкой ходить тоже лихорадка?

Так и ушел парень ни с чем. Хоть холостым оставайся, не женись. А у нас такой порядок заведен: если жених достойный работник, так племенного жеребца с гнедым мерином в пару запрягают в тарантас и в таком виде жених едет за невестой, а потом с ней по деревне катается.

Ну, проверила бригадирша, посмотрела и говорит:

— Назавтра участковый агроном в Покровское велел приехать по одному представителю из бригады, насчет, значит, агротехнических занятий разговор будет.

Стали было меня посылать, я отказалась. Куда я от дома на день уеду? Выбрали Олю Кудрявкину, пусть на народе развивается, а то тиха больно, не по годам.

Марфа Севастьяновна ушла. За работой да разговорами время бежит и не видать. Опорожнили вторую колоду, за ней третью и обедать пора. Все по домам, а я к учительнице, заметки понесла отделывать. Оставила ей, велела она к вечеру притти.

Пришла домой, натаскала опять воды, напоила скотину, принесла соломы на вечер. Вхожу в избу, гляжу, не пришел

ли Гришка — нет, не вернулся. А дочка сидит, обедает. Я говорю ей:

— Может в школе увидишь Гришутку, возьми сдачу-то у него, кабы не потерял.

А сама глянула на часы — час доходит. Бежать надо. Я было схватила кусок пирога, а дочь не пускает, садись, говорит, щей поешь. Ну, хлебнула щей, выпила молока с пирогом и побежала. Пришла как раз. Заложили четвертую колоду. Опять, конечно, песни да разговоры разные. Кто рассказывает какой сон видела. Одна, говорит, будто по лесу гуляла — значит дорога. Елена Очкина во сне чай пила — нечаянность значит.

— Наверно опять вожжами муж хлестать будет.—Сказал кто-то. Все засмеялись на это. А смешного тут мало. И пошел от этого у нас разговор о женском положении, как прежде женщина жила, как нынче. Только Настя и говорит:

— Я работала раньше на кулаков по семнадцать часов в день. Бывало встанешь, разогнешься — а в глазах темно. И ни в чем мне не было отрады и ни один я день не улыбалась. А теперь, работая в поле, мое сердце перестало ныть, потому я знаю, мои дети в покое, им в яслях три раза в день белье меняют и едят они то, чего я никогда не ела.

И никто против ничего не скажет, только Очкина не согласна. Ну да что она, все равно как смех в пустом разговоре.

Но только надо сказать, нет еще у нас полного отношения к женщине, все еще есть желание принизить и посмеяться над женщиной.

Свалили четвертую колоду на сорок пять ведер. Работой похвалиться можно, как для себя делали — и с морковкой, и с лучком, только анису вот никак не достали.

Отрубили и пятую колоду, заложили шестую, Лиза взяла тяпку в руки да и скажи:

— Что-то левый глаз зачесался.

А Оля Кудрявцева ей:

— К свиданию знать.

А Жиганиха:

— Не знаю, будет ли у Лизы свидание нынче.

— А что такое?

— Да что, вчера иду, а навстречу мне голубчик ее Орехов с другой идет. Я подзываю его, говорю — Петушек, Лиза узнает, обидится, чай. А он:— что мне Лиза, мало у меня их?

Лизка вспыхнула тут, наморщила брови:

— Зря это все... Не поверю.

А Оля ей:

— Как у тебя, Лиза, смелости хватает на виду гулять с ним. Я бы со стыда померла, осуждения боюсь.

А Лиза:

— Подумаешь, я никого не стесняюсь. Я люблю, я и хожу с ним. Пусть говорят, что знают, а я сама про себя знаю.

Ну, тут пошли женские разговоры про любовь, у кого муж какой, да как муж ухаживает, да с какой лаской к жене подходит. Обо всем говорят, без стесненья.

А я молчу, о чем мне говорить, одинокой?

И вдруг запела Настя самую разлюбимую песню мою:

«Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Двенадцать часиков пробило,
Вся публика домой пошла.
И лишь одна влюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра...»

Она поет, а на меня, то ли от усталости, то ли еще от чего, тоска напала... А перед глазами все Генрих стоит. Придется про Генриха рассказать. Летом нынче в мужья себе взяла его. Молоденький мужчина, двадцать пять лет всего, фамилия его Штейн — немец, а профессия его повар. Попал он к нам случайно, в совхоз к брату в отпуск приехал. И закрутилась у нас любовь такая горячая, что я думаю, не было у меня никогда в жизни так и не будет. Остался он жить у меня. А в Москве была у него должность, сто пятьдесят рублей получал. Стал в колхозе работать. Ну, однако, слабосилен он к деревенской работе и сноровки нет. Цепляется за всякое дело, а уменья нет. Мужчина, а за все лето семьдесят пять трудодней выработал! И стало ему обидно, конечно, что его профессия пропадает без внимания. И потянуло его опять в город. Я думаю себе — что ж, ему двадцать пять лет, мне тридцать четыре, разве удержу я его? Случилась минута такая и говорю ему:

— Иди, Генрих, видать дороги наши разные. Не судьба.

Ну, ушел он. Оставил мне свои трудодни. В дорогу ему лепешек напекла, яиц, пятнадцать рублей денег дала. Разошлись по-хорошему.

И когда дошла Настя до этого места:

> «Придешь домой, а тебя спросят:
> И где ж ты ночку провела?
> А я скажу: — В саду гуляла,
> Домой тропинки не нашла».

Эх, Генрих! Врезался ты глубоко мне внутрь и заглушить тебя ничем не могу.

Нарубили мы в этот день шесть колод, всего двести сорок пять ведер и пришлось нам без малого по семьдесят пять соток на трудодень.

К пяти часам пришла домой, гляжу на столе сдача лежит — Гриша принес, не потерял. Убрала скотину на ночь, поставила самовар, и села опять за дневник. Пишу, а руки дрыгают, натяпались за день-то.

В сенях дверью хлопнули, наверно Валюшка из школы. Так и есть.

Опишу, что дальше было вечером. Сидим, чай пьем с молоком, с сахаром. Каждый высказывает свои дела, что за день случилось.

Бабка ворчит, что-де заваленка не готова, что в хлеву крыша с боков не заделана, что поросенок горшок разбил.

Валюшка о своем, в школе дали ей роль на сцене старуху играть, ну и воображает, как ступить надо, что сказать.

Гришутка объясняет про аэроплан какой-то, руками показывает, а у меня в голове туманный шум какой-то и ко сну клонит, разварилась.

Допила чашку и прилегла на постель. Только было вздремнула, Настя входит.

— Ты что лежишь, иль умаялась?

— А то не умаешься? С каких пор на ногах?

— В школу-то пойдешь?

— Да разве нынче лекция?

— А как же, заспалась?

Мы с Настей в сочувствующих состоим и, значит, раз в пятидневку ходим в избу-читальню лекцию политическую слушать.

— Да ведь мне некогда. Надо к учительнице за газетой сходить, а там в сельсовет зачем-то вызывали.

— Успеешь, завтра не работать.

— Как не работать?

— Картошку выдавать будут.

— Поскольку же приходится?

— Иль продавать соображаешь?

— И сдавать пока не придется, а скласть, и не придумаю куда.

Разговариваем так, а сама снаряжаюсь, нацепила брошку «бабочку», которую Генрих подарил, а старушке не нравится:

— Куда опять, гулены? Что дома-то не сидится?

— На печке сидишь, заблекнешь. — Настя отвечает.

— А утром не добудишься.

А я ей:

— Да ладно, раньше вас встану.

Вышли из дому с Настей, я и говорю ей:

— Жизнь стала веселая. Хоть как устанешь, а дома сидеть не хочется.

А Настя:

— Мы старого хлебнули и знаем как было прежде. Я, говорит, столько горьких опытов пережила в своей жизни, а не унываю, потому душа у меня богатая страшно.

Вот за это я люблю ее. Она все тянет меня за собой и говорит всегда: «Наша мечта с тобой должна быть—развить голову в обязательном порядке».

А у самой трое человек детей, один грудной, а муж инвалид. Она еще девчонкой показала себя. У какой девочки чернила были, а у нее ум. Она подска-

---

Советские домны выплавили

2-го ОКТЯБРЯ 1934 года 29 700 ТОНН ЧУГУНА

Это количество металла больше чем в три раза превосходит вес башни Эйфеля, одного из величайших сооружений мира

Фото Д. Дебабова

Фото Д. Дебабова

жет что, иль напишет, а ей за это хлеба дадут. Дошли мы с ней до избы-читальни. Я пошла к учительнице. А у нее не готова моя газета. Пошла в сельсовет. Встречает меня сам «в бога мать» и уж такой масляный, любезный и говорит:

— Вот и активистка наша. А мы тебя ждем.

— Что, говорю, зачем вызывали?

— Вот, говорит, повестки нынче надо непременно разнести избирателям.

— Вы бы, говорю, ребятишек на это дело приспособили. Им сподручней.

— Ребятишек нельзя. Это не простая,— избирательная повестка. А ребенок что —заленится и бросит, спрашивай с него.

Отказываться не пришлось, посторонние люди сидели. Взяла повестки на двадцать дворов и пошла.

Ох уж, не люблю ходить по домам, особенно ночью. Другой понимает, конечно, не по своей воле беспокою, посылают, общественное дело. А другой не разберется, начнет матершинничать. Ведь у нас как еще думают — «хороший человек по ночам не пойдет шляться».

Раздала повестки живым манером. Зашла в избу-читальню. Наши там все, слушают музыку по радио — хоровое пение. Послушала я, потом поднялись с Настей, спектакля нынче нет, кино тоже не будет. Пошли домой. Дорогой я спрашиваю ее:

— Как, говорю, лекция-то, чего объясняли?

— Про диктатуру пролетариата нынче было. А только что в точности—не расскажу. Потому в уме сначала все рядом, рядом ложилось, а потом все смутилось.

Дошли до площади, она пошла на конюшню, к мужу, он там в ночных караульщиках дежурил, а я к себе. В избу не зашла сначала, а в хлев, посмотрела, как корова, подбросила просяной соломки, голос подала, заботу показала.

Зашла в избу. Время скоро десять, ребятишки спят, а бабка ворчит:

— Нет на вас дня-то, где шляетесь... Смотри, не загуляй ума!

Достала я из печки каши пшенной,

налила прямо в горшок молока, поела. Еще с утра заметила у Гришутки штанишки прорваны. Взяла иглу, положила заплатку.

Потом газетку развернула, заинтересовалась посмотреть («Колхозную правду» выписываю, местную, политотдельскую), нет ли чего про наш колхоз. Так и есть, да еще про кого, про Афонина статейка, про его пьянство.

Так, думаю, правда, значит, всегда выплывает, ее не скроешь. Ну, печатную газету не всякий прочитает, а бригадную нашу всякий увидит. Да, решила, пропишу завтра у себя в газете про Афонина-то. С тем решением и спать было собралась лечь. Но только как огонь загасить, достала я с полочки книжечку, развернула на середке, где в записочке, как пудинг делать, карточка его лежит. Взяла в руки, гляжу на него... Стоит он во всем белом, на голове колпак четырехугольный, тоже белый, за поясом три ножа, один побольше другого.

Что ж смотреть теперь, думаю, сердце свое надрывать. Положила карточку опять в книжку, а книжку в сундук на самое дно, потушила свет и легла спать.

Тем и день мой кончился.

И стар и млад взялись за полив и рытье каналов... (Мало-Кабардинский канал

Фото Прехнера

1920 год
ОКТЯБРЬ
2
СУББОТА

Открытие 3-го Всероссийского Съезда Комсомола и выступление Ленина с речью о задачах молодежи.
1-й съезд народов Востока в Баку.
Открытие 3-го Всероссийского съезда кожевников.
Провозглашение Бухарской советской республики.
Парад выпускников красных командиров на Красной площади
Общемосковский топливный субботник.
Проводы добровольцев на фронты против Врангеля и поляков.

чтобы здравотдел взял на себя заботу о банях в глухих селениях.

В Нальчик в городскую больницу из селений приезжают с болезнями, которых не было бы, если бы люди мылись.

— Пошли врачей по аулам Балкарии, пусть объяснят людям: будете мыться, будете здоровыми. Врачам верят, а к бане не привыкают.

Калмыков развивает перед заведующим здравотделом план профилактических мер. Врач должен итти к населению предупреждать болезни. Калмыков разговаривает, как человек, никогда не болевший, в жизни не принимавший лекарства.

Он берет лежащее перед ним письмо и сначала бегло, затем строже прочитывает его. Письмо Ксении Малаевой, разрешившейся четверней и просящей о помощи. Он протягивает письмо заведующему здравотделом и, загибая поочередно пальцы, перечисляет:

— Первое. Что нужно? Немедленно послать самых лучших врачей. Чтоб взяли под научный надзор. Второе: проверить квартирные условия. Людей поместить в приличную квартиру. Третье. Устроить им постоянный паек. Особый уход за матерью...

В начале одиннадцатого, он выезжает в колхоз Лескен — проверить, как убирают там кукурузу...

Видят, как он проезжает по главной улице города.

Шеф кухни Первой образцовой кооперативной столовой говорит худому, жилистому, короткоостриженному заву:

— Может, все-таки, испробовать, Матвей Осипович? Что задаром товар бросать? Калмыков уехал, сам видел. Не нагрянет сегодня. А, Матвей Осипович?

Разговор — о гарнире, несвежем, оставшемся со вчерашнего дня. Бросать ли в ведро, скормить ли обедающим? Но у зава в памяти, как на прошлой неделе — вот уж никак нежданный секретарь обкома объявился в столовой — пробовать чем народ кормят. Попробовал — и что тут было, что было!

Матвей Осипович сначала колеблется — остался гарнир, обедов на шестьдесят хватит. Несвежий правда, а выбрасывать жалко... Потом накидывается на повара и, сам того не замечая, повторяет те же слова, что выговаривал на прошлой неделе Калмыков отчитывая его, зава Первой образцовой кооперативной:

— Мне стыдно... Чем людей кормишь? О живом человеке не думаешь! Не так экономию понимаешь! Думаешь — экономия, когда дрянью людей накормишь?

...В полдень Калмыков ломает кукурузу на охряных полях Лескена.

Он учит не делать лишних движений: как убирать кукурузу, чтоб энергии уходило возможно меньше.

Районные электростанции СССР вырабатывают КАЖДЫЕ СУТКИ в среднем 43 800 000 киловатт-часов. Если бы можно было изготовить очень стойкую лампочку в 75 свечей, она горела бы 87000 лет подряд.

Он смотрит как убирает по его приказанию секретарь парткома. Нехорошо.

— Если ты, руководитель, делаешь столько бестолковых движений во время работы, как же ты можешь учить колхозников?

Партийный работник, председатель колхоза, всякий руководитель на селе должен работать немногим хуже лучшего ударника.

— Хорош же ты, секретарь партийного комитета, когда плуг в твоих руках только-только на глубину пятнадцати сантиметров берет! Как же ты тогда будешь других учить на двадцать сантиметров пахать?

И он экзаменует секретаря парткома колхоза Лескен...

Днем американского корреспондента возят по Нальчику. Фишер дивится аллее голубых елей.

Двенадцать лет назад Бетал Калмыков все часы своего отдыха в течение двух недель проводил на тогдашней окраине Нальчика, на пустыре, разбежавшемся вокруг стародавней каторжной нальчикской тюрьмы. На тюремном пустыре — расчищал аллейку, копал... Ездил в горы выкапывать молодые елочки-саженцы, переносил елочки на пустырь в соседстве с тюрьмой...

В дождливые дни на пустыре по шею увязали в грязи кабардинские лошади, впряженные в высокие двухколесные арбы.

Потом он велел снести тюрьму, перекопать пустырь. На месте тюрьмы возвел солнечное здание четырехэтажной гостиницы, землю поделил между цветами, деревьями и асфальтом, смастерил парк...

К моменту, когда американский корреспондент и стодесятилетний старик-кабардинец прибыли в Нальчик — елочки-саженцы стали высокой аллеей, полутуннелем.

Глядя на черно-коричневую тюрьму, Бетал видел на ее месте солнечную гостиницу. Он умел видеть сквозь время.

...В четвертом часу из Лескена он перебрался в Старый Черек. Заседание районного комитета происходило в полевом стане.

Он поучал:

— Если человек хорошо кушает, хорошо одевается, часто моется, живет в хорошем помещении, то к этому человеку меньше всего пристает болезнь. Человеческий организм, если он здоров, легко борется со всякими заболеваниями. А стоит организму ослабеть, как появляются и малярия, и тиф, и прочее. Болезни это результат нашей некультурности. Некультурность заключается в том, что некоторые колхозы нашей области, имея обильный урожай, все еще продолжают кормить колхозников плохой пищей. Мы поэтому сейчас всерьез переключаемся на организацию питания колхозников, чтобы они кушали вкусно, хорошо, чисто и разнообразно. Вместе с тем, мы напираем на бани. Надо чтоб люди часто купались, правильно питались и как следует одевались... Ведь мы должны воспитать нового человека. А что такое новый человек? Он должен быть в первую очередь культурным. Культурный человек, грамотный, здоровый, должен соблюдать жизненную дисциплину. Каждый колхозник, каждый парторг знает, как надо содержать и питать поросенка, жеребенка, теленка, цыпленка. А вот как надо заботиться о детях, о живом человеке — этого многие не знают. Не знают, как дети питаются, как они одеваются, чем болеют, в чем нуждаются. Многие наши руководители считают, что забота о живом человеке — это не их дело, это частное дело, которое они отодвигают в сторону.

Он стоял, поочередно вглядываясь в каждого из слушателей. Руки в карманах. Смушковая коричневая шапка чуть отодвинута назад. Голос низкий, густой, ровным громом катящийся...

Десятка полтора человек — кто в красноармейских кавалерийских шинелях, кто в вольных одеждах горцев — слушали его в квадратной комнате с побеленными стенами и желтой рамой большого окна, за которым на фоне неровной выпукло-вогнутой степи — белые с рыжими черепичными крышами строения полевого стана — спальни, ванные комнаты, клуб...

...В пять, когда из окрестных ущелий ползет на Нальчик бесхребетный, белесый туман,— машина, обрызганная дорожной грязью, останавливается у кир-

Каждая старушка считала необходимым заверить Калмыкова, что задания его будут выполнены...

Фото Прехнера

личного домика в железнодорожном поселке при станции Нальчик. Калмыков у встречного спрашивает — где тут Малаевы?

Его проводят в комнатушку, где проживает грузчик Малаев. Четверо близнецов, новорожденные бледнорозовые человечки дружно, как по уговору «уа-уакают» на общей кровати...

Через десять минут он выходит, рассерженный, недовольный. Нижняя губа чуть вывернута наружу.

— В обком.

Приказ не исполнен. В здравотделе волынят, медлят.

Он рассержен не только невнимательностью к семье Малаевых. Случай — показатель негодной работы — на этот раз здравотдела.

По пути — он велит шоферу остановиться у здания ЛПУГа — им созданного Ленинского партийного учебного городка. Городок — комбинат школ. Его составляют: совпартшкола, десятилетка, техникумы медицинский и педагогический. Последние ответвления: школа общественного питания, школа мастеров физкультуры и, наконец, первая национальная студия балета и драмы. Студия — зародыш долженствующего родиться театра Кабарды и Балкарии.

Он помнит: танцоры студии, только недавно собранные из аулов области, готовятся к краевой спартакиаде... Спартакиада состоится вскоре в городе Пятигорске. Весь Северный Кавказ шлет в Пятигорск своих танцоров, джигитов, бегунов, метальщиков, футболистов...

Он проходит в зал, где под звуки зурны и громкого барабана репетируют национальные танцы. Калмыков напоминает танцорам, что полы их черкесок не должны расходиться — как бы ни разбегались ноги, что бы ни творили они. Так диктует искусство танца.

Потом он находит, что в парах—мужчины равнодушно смотрят на танцующих с ними женщин. Мужчина-танцор не должен глаз сводить с женщины. Танцуя, он влюблен в нее. Иначе наст-

роение танца не дойдет до зрителя. Танец посвящен женщине. Калмыков учит «переживать в искусстве». Увлекшись, он рассказывает о роли женщины в искусстве и поэзии, цитирует Горького.

Вместе со студией он сам готовится к первой всекраевой колхозно-совхозной спартакиаде Северного Кавказа.

Вечером он вызывает к себе в кабинет заведующего здравотделом. Тот, правда, дал «ход» приказу секретаря обкома по делу Малаевых. Но он и не подозревает, что Калмыков успел уже побывать в семье грузчика.

Глаза сузились. Взгляд лезвийно остр.

— Что сделано для Малаевых? Ты помог?

...В девять — заседание обкома. Вызванные работники кооперации переминаются с ноги на ногу, предчувствуя очередной «разнос».

В приемной ждут управляющий «Севкавзолото», секретарь райкома в Баксане, женщина «по личному делу»...

Снова встречаются Луи Фишер, американский корреспондент и стодесятилетний кабардинец-пастух.

Поговорив с Фишером, Калмыков зовет старика.

— Садись, что скажешь?

Пастух зачарованно всматривается в лицо Калмыкова, ладонью защищает глаза от света электрической лампы. Потом протягивает ему сухую, коричневую руку, всю во вздувшихся венах и долго держит ее в просторной калмыковской руке. Калмыков приглашает его сесть. Старик медленно усаживается в мягкое кресло перед столом и произносит несколько слов.

Никто слов этих не записывает. Их можно передать лишь в том виде, в каком они сохранятся в памяти двух свидетелей встречи Калмыкова со стариком. Перескажут они короткую речь старика приблизительно так:

— Чудный человек. Я раньше не видел тебя. Но всюду, где я был, о тебе поют хорошие песни. Я сам знаю песню о том, что ты сделал. Ты вождь моего народа. И спасибо тебе от старика. Раньше ты сражался за нас, и все помнят, что ты самый смелый в войне, а теперь ты делаешь каждого из нас человеком. Всегда я хотел увидеть тебя и никогда не удавалось. А теперь я скоро умру, так я почувствовал. Я пришел, чтоб увидеть тебя и еще, чтобы рассказать тебе, какие я знаю неправды в разных колхозах, чтобы помочь тебе.

И перегнувшись через стол, старик рассказывает Калмыкову о непорядках в колхозе.

P.S. Об этом старике через несколько дней доложили Калмыкову, что он умер неподалеку от Нальчика в колхозе Кенже, превращаемом в агрогород. Его знали, как одного из многих очень старых людей Кабарды. Детство его протекало в тридцатых годах прошлого века.

ЕЖЕДНЕВНО

фабрики нашей страны

выпускают

200 000 пар

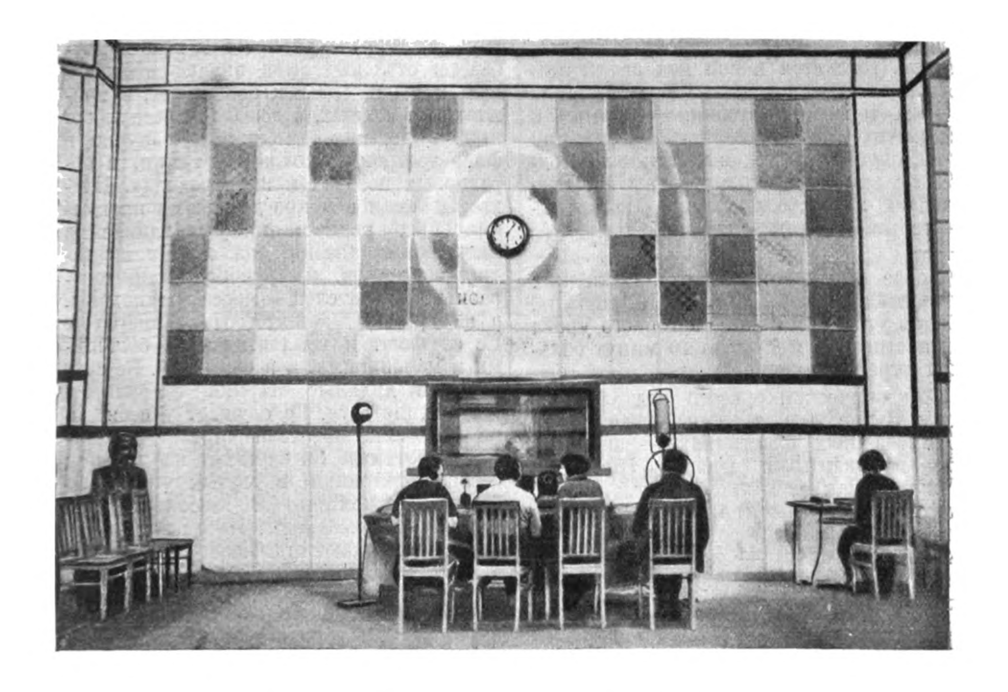
кожаной обуви.

Трикотажники дают

к этой обуви

818 000 пар

носок и чулок.



сутки мирового радиоцентра

Э. Крон

Поздний осенний рассвет еще не забрезжил, Москва спит...

В просторной комнате, с зеленым ковром на полу, расположился небольшой оркестр.

— Все готово? — спрашивает диктор.— Теперь тишина! Ну — можно начинать!

Подойдя к микрофону:

— Внимание! Слушайте! Говорит Москва! — говорит он негромко, спокойно, явственно. — Радиостанция имени Коминтерна. Длина волны — тысяча семьсот двадцать четыре метра. Пять часов сорок пять минут по московскому времени. Передаем первый урок гимнастики.

Преподаватель гимнастики становится перед микрофоном:

— Доброе утро, товарищи! Приготовьтесь к гимнастике. Сегодня мы даем подробные объяснения для начинающих заниматься. Приготовьтесь — значит вот что: наденьте трусики и туфли, откройте форточку, если она у вас не открыта, освежите лицо холодной водой. А мы тем временем дадим вам музыку: «Турецкий марш» Моцарта. Граммзапись.

Он выключает микрофон и пускает в ход уже приготовленную граммофонную пластинку, которая играет неслышно: звучание идет по проводам в аппаратную, и оттуда — по кабелю — на радиостанцию, чтоб донестись по эфиру до радиоприемников.

И вот — где-то когда-то оркестром исполненный и запечатленный на пластинке марш, неслышно проделывая сложный путь — через провода, аппараты, эфир — снова звучит: в квартирах рабочих Донбасса, Горьковского края, Урала, Западной Сибири.

Те, кто занимается утренней гимнастикой, готовятся к ней под звуки этого марша.

— А теперь, товарищи, приступим к гимнастике! Поставьте ноги на ширину плеч, опустите руки, выпрямьтесь! Поднимите прямые руки в стороны и вверх. Сделаем глубокое вдыхание. Не открывайте рта. Дышите через нос...

После утреннего выпуска последних известий, детской «Утренней зорьки», обзора утренних газет, повторного урока гимнастики — в 8 часов 10 минут большой утренний концерт:

Симфонический оркестр под управлением Пинке (из третьей студии) и на граммофонных пластинках — знаменитые музыканты и певцы — Шаляпин, Джильи, Ландовская, Хелдиг, Ламон, Ансо (из маленькой одиннадцатой студии, в шкафах которой — около двух тысяч пластинок) — исполняют произведения Доницетти, Моцарта, Бизе, Буальдье, Брамса...

В 11 часов — после передачи для дошкольников — концерт из произведений русских композиторов с участием Ковалевой, Александровой, Северского и хора имени Пятницкого.

В 12 часов 15 минут, — беседа-концерт, посвященный сюите, балладе и каватине.

Оркестр играет в пустой комнате.

Обращаясь к белой коробочке в металлическом круге, поют певцы и говорят дикторы.

Неслышно играет граммофон.

Этим концертам невидимо внимает обширнейшая аудитория — миллионы людей по всему Советскому Союзу и за его рубежом. В разное время — разные слушатели. На Дальнем Востоке Союза уже вечер, когда в Москве утро. Вставшие рано утром рабочие, колхозники, служащие слушают концерты у себя дома — за чаем, за газетами. Они слушают их на работе во время обеденного перерыва. Музыка звучит в цехах, в клубах, в столовых. Она звучит в казармах, в домах отдыха, больницах, в приютах для слепых, в колониях беспризорных, в детских садах. Она звучит в фойэ театров, в холлах гостиниц, в образцовых поездах и на пароходах. Подхватываемая в эфире десятками провинциальных радиостанций, улавливаемая миллионами антенн, она звучит из радиоприемников, из рупоров и щитообразных звучателей — через радиоузлы, в наушниках детекторных аппаратов. Ее слушают и коллективами — большими и маленькими, и в одиночку. Ее слушают и дряхлые старики, старухи, и малолетние дети. Ее слушает у себя дома академик, писатель, артист, домашняя работница. Ее слушают на дальнем севере полярники, в глухих углах Сибири — строители и лесопильщики, охотники и рыболовы. На юге, где еще тепло, ее слушают отдыхающие — в садах, в парках. Собравшись на своих заставах, ее слушают пограничники.

Каждый концерт, как и каждая более или менее значительная передача, заканчивается обращением к радиослушателям присылать свои отзывы и пожелания.

— Наш адрес: Москва, девять, улица Горького, семнадцать.

И ежедневно по этому всесоюзно, всемирно известному адресу приходят сотни писем — со всех концов Советского Союза и из-за границы.

Многие из этих посланий написаны корявыми почерками, с обилием грамматических ошибок, но уже взрослыми, недавно ликвидировавшими свою неграмотность людьми; в трогательно наивных выражениях они рассказывают о себе, как они, не слыхавшие прежде никакой музыки кроме гармоньки, балалайки или «чего-нибудь вроде балалайки», благодаря радио постепенно начали разбираться в музыке, начали понимать и ценить даже оперы и симфонии, и так музыку полюбили, что теперь уже никак без нее жить не могут.

178 400 телеграмм ЕЖЕДНЕВНО
мчится над страной советов

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

1921 год
ОКТЯБРЬ
2
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Воскресник в Москве в пользу голодающих Поволжья.

Открытие 3-го Всероссийского с'езда работников искусств.

Открытие лавок ЕПО в Липецке.

2-й день работ Всероссийского с'езда работников просвещения.

Открытие 2-го конгресса „Интернационала жертв войны" в Вене.

Сдача в аренду бывшему владельцу Когану металлического завода в Петрограде.

Доклад тов. Кржижановского на Электротехническом с'езде о работах ГОЭЛРО.

Подписание торгового договора между РСФСР и Норвегией.

Прилет из Орла в Москву воздушного корабля „Илья Муромец" с пассажирами.

Двенадцатичасовой концерт передается по станции имени ВЦСПС, а «по Коминтерну» — дневной выпуск последних известий, который начинается выступлением писателя Погодина:

— Товарищи радиослушатели! Сейчас перед микрофоном выступит драматург Николай Погодин и расскажет о своей новой пьесе «Аристократы». Через два часа в театре имени Вахтангова состоится первая читка этой пьесы. Внимание! У микрофона товарищ Погодин.

Погодин рассказывает:

— В прошлом году осенью я приехал с группой художественных работников на Беломорско-Балтийский канал. Кончилась навигация. Мы увидели изумительное зрелище, знаменитое в мировой гидротехнике, Повенчанскую лестницу, где на семьдесят метров вверх подымаются пароходы, где видишь огромные зеркала камер с водой в перспективе могучей и хмурой северной природы. Мы очутились в мире невероятных вещей и людей. Мы встречали бывших вредителей, которые носят на груди ордена и остались работать на канале. Мы встречали бандитов, которые с большой благородной человеческой гордостью нам показывали сооружения, говоря: «Это строили мы!» К нам в столовой подбежала странная женщина с каким-то озорным и по-своему смелым взглядом. Она сказала: «Вы меня не знаете. Я — Павлова. Я имела восемь судимостей, три раза была в Соловках, по последней судимости — десять лет. А теперь я досрочно освобождена, имею орден трудового знамени и работаю на канале»...

Затем диктор сообщает о том, что на днях из столицы Молдавской автономной республики из Тирасполя, в Москву придет большой железнодорожный эшелон — десятки вагонов, нагруженных фруктами, — подарок молдавских колхозников рабочим Метростроя и Электрокомбината; о том, что двести пятьдесят лучших художников, скульпторов и архитекторов начали работу по художественному оформлению пролетарской столицы к Октябрьским дням; о том, что вчера в Белоруссии начался смотр готовности изб-читален к обслуживанию крестьян зимою.

Вот кусочек программы того дня — 2-го октября 1934 года:

18.15 — 18.25: Обзор книжных новинок.

18.30 — 19.25: Заочная партучеба: «Литературная молодежь нашей страны» (из цикла: «Вопросы современной художественной литературы»).

19.30 — 19.50: Красноармейское вещание: «За путевкой в РККА» (второй день работы призывного пункта).

19.55 — 20.25: Концерт для красноармейцев.

20.30 — 20.50: Литературное колхозное вещание.

20.55 — 21.25: Концерт для колхозников.

Пока по станции имени Коминтерна идут передачи для красноармейцев и колхозников;

по станции имени ВЦСПС: послеобеденный концерт, «Старинный танец», урок немецкого языка, музыкально-вокальный концерт украинской музыки и украинской песни, концерт гастролирующего в СССР Вестминстерского хора в США, ночной выпуск последних известий,

по станции имени Сталина: ве-

домственная информация, концерт-беседа об опере «Князь Игорь», урок химии, молодежное вещание: «Как разговаривает наша молодежь», вечерний граммконцерт Галли Курчи и скрипача Сигетти, драмвещание: «Гибель эскадры».

Вечером в помещении Центрального радиовещания — обычное оживление. Приходят внештатные работники и случайные посетители: музыканты, певцы— солисты и хоровики, артисты, режиссеры, писатели, лекторы. В комнатах, коридорах, на лестнице — тесно. Студии и репетиционная заняты. Артистам приходится репетировать где придется. На лестнице из разных этажей слышны раскаты голосов. В первой студии музыканты расположились и на сцене и в зале. В редакциях вырабатывается программа на декабрь, подготовляется на ближайшие недели и ближайшие дни, просматривается и обсуждается поступивший от авторов материал, прочитываются письма радиослушателей и пишутся на них ответы. В машинописном бюро бесперебойно стучат машинки и идет обычный меж сотрудниками спор из-за освободившейся машинки. В парткоме и месткоме разрабатываются обязательства по походу имени седьмого съезда советов. В уединенной комнате для прослушивания рецензент из методкабинета слушает очередную передачу, чтобы дать о ней отзыв. В группе массовой работы выясняются возможности предполагаемой концертной передачи с завода «Серп и молот». В редакции «Последних известий», сотрудники которой постоянно имеют дело с телефоном и телеграфом, а иногда пользуются даже и аэропланом,— помимо подготовки очередных выпусков известий (их всего — пять в сутки), заняты еще подготовкой дальневосточного выпуска. В отделе перекличек готовят очередную перекличку советских городов. А из студий — из нескольких сразу — идут передачи — по нескольким станциям — в эфир, к миллионам антенн и приемников, к миллионам внимательных и требовательных слушателей.

Больше всех работы — в секторе выпуска.

Выпускающий, вернее — выпускающая — должна следить за тем, чтобы каждая передача во-время начиналась, чтобы все своевременно были на местах.

К ней непрерывно обращаются с вопросами, ей звонят по телефону:

— Когда будет перекличка с городами? — звонят из аппаратной.

— Будет ли репетиция до передачи? — запрашивают из радиостудии на Солянке.

— Какая на завтра тема партучебы?— интересуются из Кунцевского радиоузла.

— Что сегодня будут передавать? — допытывается какой-то радиослушатель.

В дверь заглядывает заведующий отделом граммзаписи:

— Все в порядке?

В двух небольших комнатах сектора выпуска теснятся дикторы — люди с всесоюзно, всемирно известными голосами и фамилиями. У них нет своих комнат: им негде спокойно подготовляться к выступлениям, негде отдохнуть в свободные часы. Они — как и все работники всесоюзного радиокомитета — с нетерпением ждут постройки грандиозного Радио-дома на Миусской площади...

К двадцати трем часам работа в радиоцентре начинает затихать.

В двадцать три часа — передача на немецком языке: «Как изменилось лицо нашей страны» (Дальний Восток).

В 23 часа 55 минут включается Красная площадь: гудки проезжающих по Красной площади автомобилей в эти минуты слышны во всем мире.

В 24 часа — бой часов с Кремлевской башни и звуки «Интернационала», которые в те же секунды долетают до рабочих квартир в фашистских странах, где по вечерам друзья Советского Союза собираются послушать передачу на понятном для них языке.

Когда в Москве ночь, а в Европе вечер, радио-Москва говорит по-испански: «Студенты, которые не будут безработными», по-французски: «Учителя в СССР», по-голландски: «Как изменилось лицо нашей страны», (Дальний Восток).

Каждая передача начинается и кончается гимном Коммунистического Интернационала, гимном мировой революции.

В два часа ночи самая мощная станция в мире замолкает, чтобы рано утром снова начать свою работу с очередного урока гимнастики.

Четвертая скорость

Карл Гальперн

Завитым почерком разнарядчик заполняет путевку. Если вчитаться — это выходит вовсе неплохо.

«Василий Шведов. «Фомаг» 217, с самосвалом. 5 тонн. Фары в исправности». (Значит, работать можно и ночью).

Шведов входит в кабину. Его принимают пружины кожаной подушки. Он чувствует: шесть резиновых баллонов колес упираются в землю. Он стал тяжелее на несколько тонн. И стал во столько же раз легче. Потому что нашел спиной точку опоры. В его руках и ногах созревает готовность целый день крутить и выжимать тоннаж машины.

Несколькими поворотами никкелированной ручки налево от себя Шведов опускает стекло. Шестой час осеннего утра вставлен в лакированную рамку «Фомага».

Шведов складывает вчетверо путевку и засовывает ее за провод стеклоочистителя. Ключ открывает электрическое сердце машины. Вспыхивает рубин на щитке. Стартер ухватился за зубья маховика и повернул тяжелый вал. Шведов прибавляет газ. Не потому, что он хочет помочь мотору, а просто, чтобы разбудить его как следует, прочистить его дыхательные пути и прогреть. Чтобы, раскатываясь и фыркая, мотор подставил утреннему ветерку бока цилиндров и глубоко дышал радиатором.

Физкультурники называют это утренней зарядкой.

Но, пора! Шесть поршней ведут свой невидимый, бешеный танец вдоль блестящих шлифованных поверхностей цилиндров. Один — вверх, другой — вниз. Но, не друг за другом, в повальной последовательности, а в разрывах и в ритме джаза:

1—5—3—6—2—4. 1—5—3—6—2—4.

Две тысячи раз в минуту.

Захваченный руками шатунов за шейки, вращается покорный поршням коленчатый вал. В два раза медленней.

1 000 оборотов в минуту.

И рядом с ним вступает вал распределения. В четыре раза медленней.

500 раз в минуту.

На нем прыгают эксцентрики, выщибая клапаны из седел. Их по-двое на каждый цилиндр. Эксцентрик, один повыше и поуже, вдыхает быстро, другой пониже и пошире выдыхает — чуть медленней.

Послушная рычагу вошла в зацепление большая, тихоходная шестерня. Первая скорость. Нога Шведова ровно опускает педаль конуса.

Грузное тело машин подчинилось ритму мотора. Газ. Короткий электрический вскрик. Медленно отрываются от земли колеса. Получив свободный ход, воют скорости. Вторая. Третья.

Тяжело покачиваясь, позванивая цепями на бортах, машина идет, взмахивая на перекрестках красными руками семафоров.

Четвертая, рабочая, бесшумная, прямая скорость начинает свой трудовой день.

Правила уличного движения живут в Шведове, короткие и толкающие, как вспышки.

Они напоены тысячами ампер энергии, посланной с распределительных щитов центральных электростанций. Они вспыхивают сотнями сигналов. Они проходят стальными тягами под кузовом машины.

И на секунду прижимаются мертвой поверхностью тормозных колодок к ободьям колес.

Вовлеченные в эту систему, «Фомаг» и Шведов безошибочно находят в ней свое место. В этом — их сила и отличие.

Случается, что послушав ровное дыхание двух корбюраторов «Фомага», увидев, как нормальна его температура, шофер говорит, поглядывая на мотор:

— А все-таки, что хочешь мне давай, не сяду я на этот «Фомаг». Тяжело, за что ни возьмись, надорвешься. Один конус чего стоит.

И в самом деле — педаль сцепления, которую при городской езде приходится выжимать каждые несколько минут, давит с силой в тридцать два килограмма.

И все же для того, чтобы водить «Фомаг», не нужна физическая сила выше нормальной. Все зависит лишь оттого,

Смена идет

Фото С. Сеферова

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

1924 год
ОКТЯБРЬ
2
ЧЕТВЕРГ

Опубликована статья тов. Ярославского о партийной этике и разложении.

Воззвание Ленинградских организаций о помощи после наводнения.

Конкурс „Правды" на лучшую избу-читальню.

Манифестации узбекской молодежи, приветствующие размежевание народов Ср. Азии.

Сводка „Правды" о преследованиях рабкоров и селькоров.

Прибытие в СССР геджасского посла Эль-Эмира Хабиб Лотфалла.

Пленум ЦК Крестьянских комитетов общественной взаимопомощи.

какие отношения сложились между водителем и машиной.

— Какая бы в тебе сила ни была, «Фомаг» всегда окажется сильнее тебя, если уж дело на то пойдет, — говорит Шведов. Он знает. Шофер, который не нашел согласия с «Фомагом», будет плохо спать в ночь после работы.

«Фомаг» с трудом отдаст ему конус. На попытки переключить скорость он ответит рычанием, от которого у шофера взмокнет спина. Безжалостный к обнаруженной слабости или невнимательности, он будет стучать в цилиндры, стрелять из глушителя, выдыхать огонь.

Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока шофер с лицом, превратившимся в маску из пота, масла и гари, не придет в гараж.

Он должен будет просить буксир для «Фомага» и врать, объясняя причину, и видеть, что все понимают, что он врет, и со сжавшимся сердцем уже читать на губах старшего по гаражу вопрос:

— А какая у тебя категория?

И затем вести на цепи буксира под насмешливыми взглядами прохожих притихшую и враждебную машину. И слышать за сочувственными словами товарищей, что они не сочувствуют, а смеются.

Но что до этого Василию Шведову. Он знает, что жизнь идет много лучше, когда в картере мотора масло стоит на точном уровне. Не больше и не меньше. И покрышки всех колен одинаково накачены до семи атмосфер. Что в том, что в рычаге сцепления тридцать два килограмма, — когда по смыслу и по форме этот рычаг — продолжение левой ноги Шведова. Это значит лишь, что его ноги во много раз увеличили свою тяжесть и силу. Машина создана для него. Их организует общий ритм. Поршни толкают сердце Шведова. Его пульс нормален. Один толчок сердца к двадцати оборотам коленчатого вала, на среднем рабочем ходу. Он ощущает электрическую проводку машины так же точно, как свою нервную систему. И тогда прекращается самостоятельная жизнь машины. Она сейчас наиболее близка к своему идеальному существованию в замысле конструктора.

Когда-то, отдалившись от людей и став алюминием, железом, сталью, она снова превращается теперь в мысль. И это — он, Василий Шведов.

Люди это понимают. Они чтут в нем душу машины. Шведов выходит у конторы землестроительных работ. Толпа землекопов окружает его. Покорное и дружелюбное чудовище ровно дышит позади.

Грузчики не говорят ему, как всем: «парень», или «эй», «ты», или «товарищ», как разнарядчику. Им нравится называть его «шофер».

— Шофер, — говорят они, — поедем на песчаный карьер!

Им придется целый день работать вместе. Это уж положило начало дружбе, которой не нужны слова.

— Садись, ребята, — говорит он и смеется, глядя, как быстро перелетают грузные тела через высокие борта машины.

Он знает, что став отчасти владельцами машины, они разделят с ним всю тяжесть ответственности. Подпрыгивая на блестящей, обитой железом, площадке, они будут грозить кулаками неосторожным прохожим. Они станут за него горой в любом положении, хотя бы это и противоречило упрощенно понимаемой справедливости.

Однажды Шведову пришлось видеть, как машина сшибла прохожего. Опрокинутый на спину человек умирал. Изо рта у него текла густая струйка крови. Лицо, забросанное пылью, все более сливалось цветом с землей. Шофер стоял молчаливый и бледный. Но грузчик с его машины неистовствовал. Он утверждал, что пострадавший и все находившиеся побли-

зости во время происшествия в дрезину пьяны, чуть что на ногах держатся.

— Ну-ка, дыхни, твою мать,— кричал он, хватая за грудки каждого, кто, сгорая от нетерпения дать свои показания, выдвигался вперед.

В землестроительной конторе разнарядчик заставляет Шведова постоять у стола. Шведов терпеливо выстаивает эту каждодневную трехминутную молитву, обращенную к богу канцелярии. Затем, все так же молча, тронув за рукав разнарядчика, он показывает ему глазами на стоящую за окном машину. Разнарядчик покорно подписывает путевку и они вполне дружелюбно расстаются.

В кабину вместе с Шведовым усаживается старший грузчик.

— Сильная машина,— говорит он, ни мало не заботясь притушить льстивые нотки своего голоса.

— Ездить можно,— с видимым равнодушием отвечает Шведов, пощупывая носком правой ноги нетерпеливую дрожь ста лошадиных сил, ждущих его знака. И вот загородная дорога вбегает в его глаза — на крепком газу. Она не беспокоит его ни малейшей задоринкой. Машина наматывает дорогу на колеса так быстро, что они будто, почти и не ездивши, подтягивают к себе карьер, находящийся в двадцати километрах.

Стройный транспортер наклоняется над ними. С сухим треском бежит по нему река гравия.

Через несколько минут Шведов уезжает. Далеко в степи он поднимает в небо кузов машины, огромный, как разведенный мост на реке. За ним у дороги остается холм гравия, который издали можно принять за степной курган.

Снова транспортер несет гравий, приправленный солеными каплями пота работающих полной лопатой землекопов. Но Шведову нравится больше экскаватор на земляных работах.

К экскаватору Шведов приезжает один, без грузчиков. В ответ на короткий деловитый гудок зеленое чудовище «Менк и Гамброк» устраивает ему парозвуковой душ, от которого дрожат барабанные перепонки. Рев оседает светлыми каплями воды на стеклах машины.

Огромная силища экскаватора, питаемая паровыми котлами, не может не вызвать почтительного изумления Шведова. Но все же часто он не может удержаться от смеха, глядя на него. Очень уж много в нем таинственных сил, шипения, рева и кашля.

Шведову кажется, что стоящий неподалеку корректный, сдержанный электрический американец экскаватор «Бьюсайрус» не без чувства юмора, время от времени обращается к своему не в меру разошедшемуся дядюшке из Гамбурга, медным голосом сигнала:

— Нельзя ли потише!

По смеющимся глазам машиниста на «Бьюсайрусе» Шведов видит, что это похоже на правду.

Но вот «Менк и Гамброк» добродушно тычется несколько раз в землю слепой мордой своего ковша и вдруг с неожиданной яростью, чуть припав вперед и приподнимая от натуги желтую спину, вырывает полтора кубических метра земли. Огромные стальные клыки вгрызаются в холм у самого основания. Они медленно ползут вверх, оставляя в земле широкие борозды, подшибая макушки холма. Стремительно взлетев, ковш покачивается над головой Шведова, точно раздумывая, и с лязгом роняет свою нижнюю челюсть. Машина приседает под обвалом.

Три, четыре таких обвала и их расчеты окончены. Итальянка «Лянчиа» уже нетерпеливо пофыркивает за спиною Шведова.

Он не сможет отказать себе в удовольствии — на прощание помахать семафором гиганту в зелено-желтом гамбургском костюме...

Впереди на крутой подъем тяжело взбираются итальянцы «СПА». В спину ему газует «Геркулес». Моторы тяжело тянут перегруженные машины. Ревут переключаемые шестерни. Воют скорости.

Шведов вынужден дать продолжительный гудок, который заставляет шоферов высунуться из окон кабинок.

Прошу извинить! Но, хотя он и с грузом, он подымается в гору на четвертой скорости. Ему незачем беспокоить машину переключениями.

Полный газ! Машина идет, направив грудь радиатора в голубое небо. «Фомаг» № 217, с самосвалом. Фары в исправности (значит работать можно и ночью).

Комсомольский прокатный стан № 1. Прокатка на заводе „Серп и Молот" в Москве

Фото Б. Иванницкого

Фото Г. Грачева

Трудодень

И. Рудин

Рис. М. Рабиновича

На печке спали трое малышей, на кушетке возле окна — Дарья, на кровати — жена. Было половина четвертого утра. Андриян Иваныч хотел уйти тайком от жены, до того как она проснется. Затаив дыхание, он шагнул к дверям — под каблуком хрустнуло блюдечко, — детвора на ночь поила в нем котенка. Бригадир замер, услышав как на кровати вздохнула жена. Он словно увидел в темноте ее влажные глаза, и уже не мог уйти, не успокоив ее обещанием.

— Разбужу баб на картошку и приду. Теперь не более четырех. Спи. Со сна ты кидалась, не лихорадка ли у тебя. Поспи...

И неуверенно притронулся к задвижке. Старуха схватила его за рукав и потащила на середину избы, подталкивая локтем в бок, — уже три дня лежит на огороде без прикрытия картошка, неужто часу у него не найдется, чтоб подравнять дно в яме и завалить в нее картошку.

— Спогодя приду, — повторил он, — мне перед людьми совестно из-за тебя. Ты мне план рушишь. Я всех агитировал рыть раньше бригадную картоху. Свое — подождет!

В тоне, с каким он произнес «свое», ей почудились легкомыслие и насмешка, а между тем он верил, что заскочит на часок и загребет яму, но не находил за весь день этого свободного часа. Разъездную лошадь он отдал на подвозку досок в МТС, и за день пешком делал по пахотям и токам километров пятнадцать, а то и больше.

За селом шла вспашка зяби — нечто огромное, казавшееся бригадиру последним тяжелым перевалом к зиме. В восьми километрах от села молодежь с учетчиком Косякиным молотила подсолнух. Десятки гектаров неубранного подсолнуха заедали бригадира крепче зяби. Из-за частых остановок старого Фордзона молотьба пшеницы затянулась до октября. Последнюю скирду он домолачивал на току, недалеко от села. Это был третий параграф предстоящего дня. Четвертым была картошка. На нее ему предстояло выпроводить баб. Возни с ними много. Бабы—беспокойный народ. Их томили жилье, дети, печи, огороды, коровы. Бывало в косовицу, запрягал бригадир арбу, развозил баб среди бела дня по избам, а потом опять сажал их, как гусей, вез на поле.

Был он бурый и запыленный, ел на ходу, и все торопился, разучившись медленно ходить, горячий, распаренный бригадир. Зимой, во время читки «Поднятой целины» на курсах бригадиров в районном селе Борском начполит Зефиров обратил внимание на восторженную мимику юноши лет пятидесяти пяти. Слушая книгу, Андриян Иваныч бурно вскакивал, вздыхал, перебивал чтеца восклицаниями. После, в отзыве на книгу Андриян Иваныч писал: «Все правда: как в зеркале вижу свой колхоз «Коминтерн», хотя у нас Средне-Волжский край. С подлинным верно отразила «Целина», ну, теперь надо книгу про бригадира, как он организует. Потому план я несу в уме».

Старуха крепко держала его за рукав.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИРОСТ населения в нашей стране 7 800 человек.

Кем вырастут люди, родившиеся сегодня. Строителями зданий? Земледельцами? Слесарями? Летчиками? Учеными? Мы не знаем этого. Но мы знаем, что ни один из них не будет ни эксплоататором, ни безработным, ни тунеядцем.

Сквозь мутное стекло, они сочувственно глядели друг на друга...

Андриян Иваныч засопел, легонько отодвинул ее локтем. В углу заворочалась Дарья. У него мелькнула мысль свалить на нее огородную заботу.

— Дашка, может вы уладите тут с маткой...

В ту же минуту в окно забарабанили. Старуха передернулась: «Уж несут их, шуты, осподи, спозарань».

— Андриян Иваныч, — завопил кто-то под окном, — погоныч мой Федька животом мается, хоть не выезжай!

Бригадир вздрогнул и сразу подался к окну. Он узнал голос своего лучшего производственника — Александра Токарева. Так вот до света, озябшей рукой, стучался в окно к нему — день. День начинался неладно. Андрияну Иванычу стало жарко. Он задышал часто, как бы согревая человека, стоявшего за окном. Сквозь мутное стекло, они сочувственно глядели друг на друга. И вдруг Андриян Иваныч отшатнулся и с ломаной ласковостью сказал дочери:

— Дашка, походи с ним денек, выручи, ей-бо. Я как отец прошу, а то могу приказать...

Он боялся, что дочь заупрямится. Лучшей ударнице, получавшей премии политотдела, не к лицу водить лошадей.

— Мне пойти с погонычем? — спросила она с иронией как всегда, когда отец маневрировал дочками, заполняя ими прорыв, — пользуешь ты нами, бригадир.

— Погоди, Сашь,— крикнула она в окно,— молока напьюсь и выйду. Запрягай.

— Ну, мать.. пойду,— сказал Андриян Иваныч, успокаиваясь.—Вот ежели б ты к нам на картошку, а? Лихорадка — не болезнь, она работы боится. Мать, ежели б в пример, а?

И закрыл за собой дверь, подумав, что старухе, у которой возможно начинался приступ малярии, хорошо бы отлежаться на печке.

Наказ бабам он дал еще с вечера и пошел к ним под окна. Он будил их, стуча пальцами по стеклу. Ни в одной избе еще не засветился огонек. На стеклах темных, с лаковым отблеском, как вода в колодце, он выстукивал короткими пальцами утренний марш — подымайтесь. Ритм этого напоминания, в зависимости от человека, которого будил бригадир, был то настойчивый и частый, то осторожный и глухой, то резкий в два такта. Чем сонливей человек, тем громче был стук. Одна за другой вспыхивали лампы. Изнутри была видна волосатая кисть его бурой руки. В теневом полусонном мелькании ему бросали: «сейчас», «иду, только молоко процежу». В избе Труфанова: — «Анадысь всю перетрясло, хоть бы денек перележать». Он же знал, что Труфанова, как и его баба, занялись огородом.

— Заболела, ай-ай. Шути-шутки, по десять кил на день картохи будет. А нуте-ки... собирайся...

И он посмотрел на нее с такой откровенной насмешкой, что она запнулась и выбежала в сени, крикнув: «приду».

В избе Баюшкина долго не откликались. На стекле появилось крутлое бабье лицо с большим крикливым ртом.

— Чаго? Мне сегодня в Борское надо... не могу...

— Доброе тебе утречко, Настасья... эхе-хе... не можешь,— стал он притворно вздыхать,— сбила маслицо? Метила его отнести в Борское... Не ко времени, бабка.. а ну-те-ки, Настасья, — у нас план! — крикнул он, приняв грозный вид и опять насмешливо и притворно. — Передай от меня поклон политотделу, скажи, — картошку всю выкопали, пришлите музыку. Эх ты ко-ро-вушка.

— Приду — завел! — крикнула она и юркнула в темноту.

Так, пробежав улицу, он в полчаса разбудил баб. А сам неумытый, натощак, пошел в конюшню за подводой на картошку. Уже красноватый луч зари горел на горизонте. Село отворяло ворота. Одна за другой выбегали коровы. Скрипели двери в кузне, заваленной сеялками и жнейками. В сельпо променеврировал продавец Иван Матвеевич. В ларьке, возле белолицой церкви, щелкнули дверцы, открыв груду арбузов и дынь по четвертаку. Проковыляла первая в это утро еще сонная фигура. Делята завхоз ехал в Борское, в райзо выбирать племенного бычка. С недовольной гримасой семенил в контору пред, костлявый, верткий, белобрысый Черемушкин. В конторе — уже народище — три бригадира, счетовод, сторожа, — рядят зябь, подсолнух, картошку, домолот. И пошел он течь по четырем каналам — колхозный день.

Поднялось солнце, и все стало видно, все ясно в предначерченном дне: вспыхнули краски и обозначились линии трех тысяч гектаров колхоза: зелень моложенькой озими, серая щетина жнивья, кофейные пласты свежей зяби. И чем выше вздымалось солнце, тем шире хватал глаз, видя леса подсолнуха, соломенные ометы, церкви-амбары в соседних селах и у насыпи, далеко, белую грудь элеватора, поставленного, как зажигалка, узким, стройным ребром...

Пять пахарей с погонычами выезжали на четверках из конного двора, когда подошел бригадир. Любуясь ими, он крикнул:

— Ноне по семь крутов жду от вас,— кабы дожди не пошли, Сережка, зачни сегодня с холма, а эти все, как были...

На возглас его никто из пахарей не ответил, только Дарья показала рукой на избу: «иди снедать». Он рявкнул «спогодя», а там — на лошадь, — и к бабам.

Они уже прибрали к рукам заступы, строясь неровно и болтая про кооперацию — «свитеры привезли», про кур — «плохо несутся», про завхоза — «анадысь до зари загулял». Андриян Иваныч подскочил к ним с анекдотцем. Рассмешил Косякину, жену учетчика, мигнул Марфе Петровне, подтолкнул локтем в бок многосемейную молчальницу Митрофанову. И стало бабам жарко от него. Обсасывая сухой язык, глотая натощак слюни, он целился на Баюшкину, а исподлобья изучал картофельную конъюн-

ктуру, думая как бы расставить хлопотливых матерей по звеньям, распалить в них соревновательский зуд.

— У меня, бабоньки, мнение, разделимся на две категории. Которые пойдут слева, — им буде звеньевым Марфа; которые пойдут справа, — им буде командиром... фу ты... ну ты... Кого бы поставить... а, ну, заходи... а ну-те-ка...

И он слегка притронулся к плечу Баюшкиной.

Та полыхнула на него серым круглоглазым изумлением и зарделась не по годам.

Через несколько минут звенья шли с молчаливой и даже торжественной яростью. Улыбка блуждала на пересохших губах бригадира — плутовская, самодовольная улыбка мастера. Он неспроста поставил звеньевыми двух соседок. Он знал насквозь темпераменты шестидесяти восьми своих бригадников.

В конце поля неожиданно показалась его старуха, она плелась с заступом в руке. Андриян Иваныч подумал, что жена пришла его корить, и весь насторожился, она же молча присоединилась к звену Марфы Петровны. Бригадир ударил себя по бедрам и козырем петухом пробежал вдоль шеренги.

— Глядите на мою, не выдержала! — ликовал он. — Ну, бабы, я пошел... К вечеру вам хватит копать до навеса... Лопат не оставляйте на поле... Ожидайте меня с минуты на минуту... налечу — не спущу.

И потопал, дергая плечами, думая уже о пахоте, о токах. В селе он зашагал быстрей, не глядя по сторонам. Увидел за кузней кровлю своей избы, подумал: «надо будет к зиме перебрать пол, перекрыть крышу». В этом году он кончал все работы на месяц раньше — время на ремонт найдется.

— Дела идут, контора пишет, — произнес он вслух, и рассмеялся. В эту минуту он почувствовал себя удачливым бригадиром, и решил сейчас же после завтрака забить яму, — пускай старуха порадуется — велико ли дело.

Его остановило восклицание Федьки. Погоныч глядел через разбитое стекло фиолетового окна новой избы и манил к себе бригадира. Андриян Иваныч нехотя подошел.

— Дяденька, — сказал Федька, и его курносое лицо вздрогнуло, а черные глазки потускнели, — у меня с арбузов в животе метелит. Мы два центнера арбузов получили. Ты ж у нас доктор. Дай мне чего из аптечки, мне ж мало интересу прогуливать.

— Аптечка на подсолнухе, к вечеру принесу чего-либо. Не пей сырой воды, — сказал бригадир, вспомнив наставление инструктора здравотдела, вручившего ему весной аптечку.

Чувствуя на себе глаза Федьки, он медленно направился к своей избе. Зайдя, умылся в сенях. С покрасневших пальцев капала вода, когда он искал в избе полотенце. Дети играли в самодельные кубики, строя на табурете паровую мельницу. Улыбаясь он пробормотал: «стоющая вещь» — и сунулся к печи. Вынул сияющий в глазури кувшин с топленым молоком и чугунок со щами. Ел лобастой ложкой прямо из горшка, ласково грозя детям:

— Не оставляйте на ночь блюдцев, все передавлю впотьмах.

Насыщался медленно, загребал быстро. И вдруг стук, дребезжание окна. На стекле с улицы вырисовался мякиш приплюснутого носа и посиневший круглый рот.

— Андриян Иваныч, трактор мажет, полтора часа стоим.

Доедая на ходу, багровый, он бросился к дверям. Два километра он отмахал в несколько минут, прибежав на ток, как раз в тот миг, когда тракторист Селезнев, замасленный и сосредоточенный, вылез из-под брюха Фордзона, и, словно приветствуя бригадира, ликующе дернул рычаг. Трактор вздрогнул, зашлепали ремни, радостно и облегченно завыл барабан молотилки на холостом ходу. Люди спешно бросились по своим местам.

ЕЖЕДНЕВНО

338 — тракторные заводы страны спускают с конвейера колесных и гусеничных тракторов

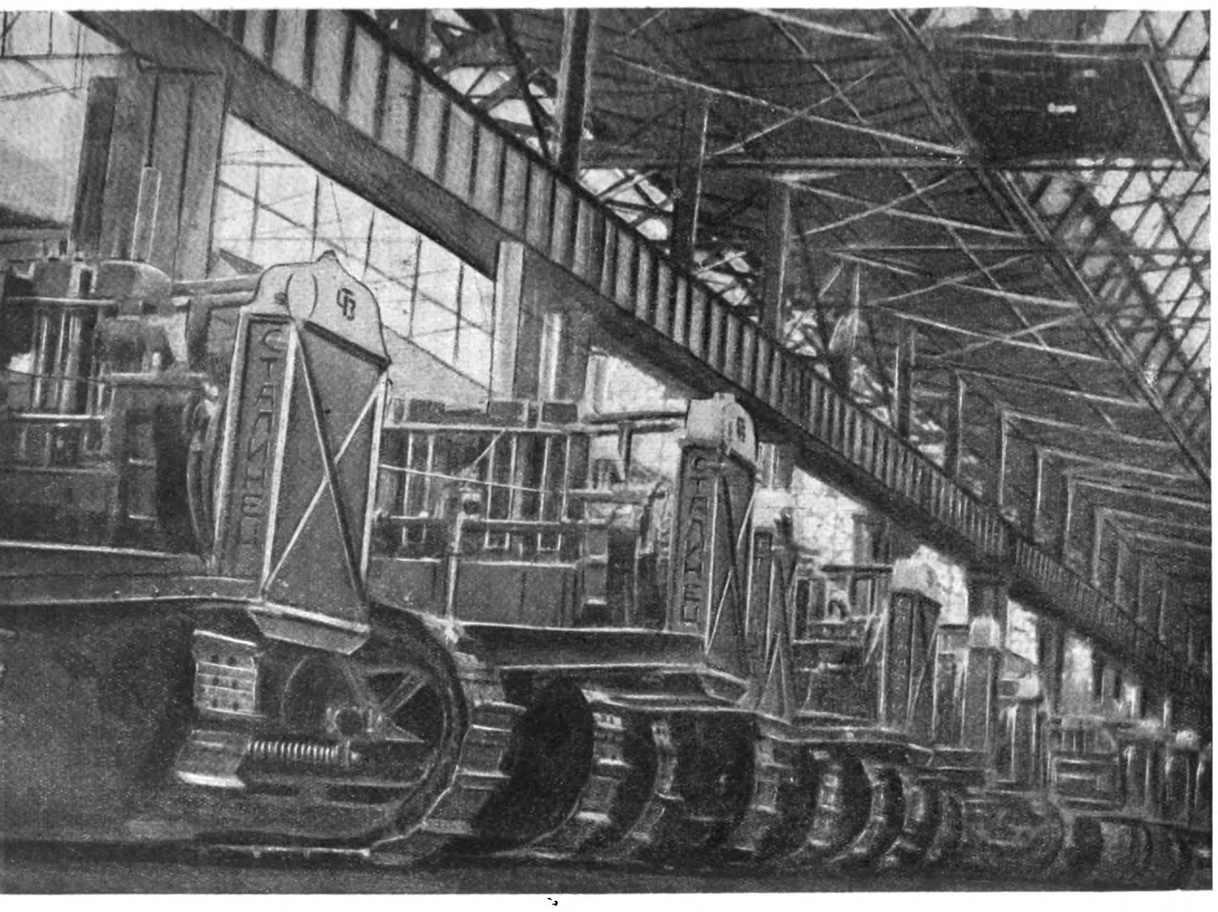


Фото С. Сеферова

— Не иначе, Андриян, с твоей легкой руки! — крикнул рыжастый, большелобый весовщик Кнорин, поставленный старшим на току.

Восемь ометов, золотых, соломенных великанов окружали ток, где два месяца назад начал Андриян Иваныч на диво соседнему колхозу жаркую молотьбу.

— За два дня, думаю, домолотим, — сказал он, отдышавшись,— ну, ток надо подмести, чтоб он был как зеркало. Пущай любуется соседик наш «Красный октябрь». Вчерась мимоходом я заглянул на их молотьбу. Но! Скирд пять не обмолочено...

— Да ежели б нам другой трактор!— воскликнул весовщик,— мы бы две недели тому назад кончили... Спасибо Метеэс... Я бы эту ревматизму, трактор, отправил на слом...

— Скорый ты ломать,— сказал Селезнев, довольный, что пустил трактор к приходу бригадира.

Андриян Иваныч пробыл на току часа два, распорядился и пошел на подсолнух. До тока, где молотили подсолнух, было пять километров. Там дневала и ночевала молодежь, изредка появляясь в селе попариться в бане, потопать в клубе. Дорога шла мимо пахарей. И хотя бригадир был уверен в них, как он был уверен в Кнорине и других лучших производственниках, без которых ему было не охватить бригаду целиком, он в удовольствие себе решил пройти к ним, схватить рукой распоротую плугом землю, в тот момент, когда она валилась в полуоборот от лемеха. Он шел потный, раскачиваясь, как гусь. На буграх штрихи полей были четки и прямы. Далеко золотился верх леса, тронутого осенней палитрой. Андрияну Иванычу стало жарко от ходьбы, от тревоги, той, что постоянна в нем, неотделима, циркулируя от сердца и к сердцу, как кровь. Он силился представить, как там сейчас на подсолнухе. Улыбнулся, подумав о молодежи. Он почти завидовал Косякину, который провел с молодежной группой на полях все лето. Учетчик добродушно жаловался на ребят—они не дают ему спать, затевая вечером в курене игры и пляски.

Не подымая головы, в думах, он кряжисто отшагал два километра. По левую сторону от него стлалось темнокоричневое поле зяби; справа, где была земля соседнего колхоза, темнели только первые пунктиры вспашки. С далекого конца приближалась четверка с плугом. Вскоре Андриян Иваныч различил Дарью и Токарева, быстро-пребыстро поспевавшего за плугом. Четверка шла торопко и дружно. На повороте Дарья ловко отвела лошадей, крикнув отцу:

— Ну, как, забил ямку? Обманываешь матку.

— Матка сама прибегла на картошку. Лопату принесла, смех, ей-бо. Не стерпела,— рассмеялся он и по локоть засунул руку в борозду, набрал полную ладонь земли, счастливо крякнул,— Алексашка, семь кругов буде? А ну-теки, плут.

И ринулся к другим пахарям, бежал по гребням, спотыкаясь, подбадривал: «а ну-те-ки, борцы, по семь кругов». Перейдя на шлях, вынул из кармана смятую тетрадь, огрызок карандаша и записал крупным детским почерком: «пашу зябь, ежель мне такой темп, прикончу восьмого». Пошел по дороге, перелистывая тетрадочку, произнося вслух ее цифры и секреты. От быстрой ходьбы он сопел, пропуская слова в нос, со свистом. Казалось, он поет на ходу.

Позади тявкнул автомобильный рожок. Андриян Иваныч обернулся. Струясь флажком, катила машина политотдела. Управлял сам Зефиров, рядом притулился с обиженной гримасой знакомый колхозам шофер Афанасий.

Позади сидел Черемушкин, рядом — бледный человек. Зефиров остановил машину под боком у бригадира. Поздоровались; крепкая ладошка начполита утонула в пятерне Андрияна Иваныча. Был Зефиров в военной шинели, быстрый, с приветливой улыбкой на утомленном лице и невыносимо выпытывающими глазами. При встрече с ним, у Андрияна Иваныча крепче саднило сердце, горячей бежала кровь. А брови его дыбились, и весь он сатанел от мысли — как бы не сплошать перед начполитом.

— Верзилин, вижу, зябь у тебя крепко взята, — сказал Зефиров, представляя бригадиру бледного человека, вылезшего из автомобиля, — корреспондент «Волжской коммуны», дело наше такое...

И он рассказал Андрияну Иванычу, что Борская МТС, опередив районы края по зяби и хлебосдаче, решила обратиться к ним через газету, описав в письме, как она добилась успехов. Корреспондент протянул Андрияну Иванычу исписанный с двух сторон большой лист, с подписями ударников и лучших бригадиров МТС. В одном из абзацев Андриян Иваныч прочел о себе, будто он сам рассказывал, как ловко организовал у себя в бригаде дисциплину и порядок. Он сказал о письме «де, вещь стоющая» и полез в карман за огрызком, но корреспондент протянул ему вечную ручку. Андриян Иваныч не знал, что с ней делать, и все ждал, что корреспондент поднесет ему чернильницу, потом, мельком взглянув на золотое перо, расписался, положив лист на крыло автомобиля. Корреспондент нацеливался на него фотоаппаратом.

— Стань в позу,— приказал он, пряча бережно ручку, и складывая вчетверо письмо, — отступи на пять шагов. Стоп, хватит. Замри. Сколько, говоришь, процентов зяби ты уже отхватил? К восьмому закончишь? Так и запишу. Поверни лицо, нет, налево. Подсолнух, значит, к двадцатому? Так и запишу. Не чеши бровь.

— То есть, как к двадцатому? — выпалил бригадир и почувствовал под собой бездну, поднял испуганные глаза на Зефирова. Тот заглядывал в свою знаменитую записную книжку. Кровь ударила в лицо Андрияна Иваныча. Он вспомнил, как три недели назад, планируя с Зефировым осенние работы, пообещал ему сгоряча обмолотить подсолнух не позже двадцатого. И запнулся, не зная что сказать. Таким и увековечил его корреспондент — перекошенным, с обмершим взглядом. К краю дороги приплыл плуг. Зефиров узнал Токарева и поманил его, а корреспонденту сказал: — Это первый ударник бригады, тихий и страшно упрямый.

— Давайте его сюда, — оживился газетчик.

— Здравствуйте, товарищ Зефиров, — крикнула издали Дарья.

— Снимайте и ее — Верзилину, — сказал начполнит и объяснил, — это та самая соревновальщица, которая в прополку обогнала лучшее звено. Пять дней дрались оба звена за одну сотку.

— Мне бы карточку дали в руки, в газете я себя не узнала, — пропела Дарья, подбегая к автомобилю.

И пока их снимали и зачитывали им письмо, Черемушкин в стороне горячо и потно нашептывал бригадиру:

— Отправишь чуть рань одиннадцать центнеров. В амбаре больше трех центнеров не наскребу. Спустя пошлю на ток Никиту с бычками. Если газета напечатает процент сдачи, а у нас сдано меньше... Не дело! Опять же — это двадцатое число... Гм...

— Бегу,— туго с хрипом бросил Андриян Иваныч, — сделай милость, загляни на картошку, до вечера не вывернусь...

Когда автомобиль мчался в село, Черемушкин сказал корреспонденту:

— Верзилин имел четыре десятины, а теперь у него в бригаде 700 гектаров. Горячий человек. Бывает, весь день шумит, про себя забудет, не поест.

— Потому-то он всегда и кажется мне жадным и на еду и на работу, — оглянувшись, воскликнул Зефиров и прибавил с усмешкой, — вгонит его в семь потов подсолнух... но я уверен — Верзилин не промахнет...

Андриян Иваныч бежал, распахнув ватную куртку, припадая на правую ногу. Всегда так — в каком-то наиболее серьезном повороте дня — давала себя чувствовать мозоль на правой ноге. Настойчиво и хитро она напоминала о себе бригадиру, как раз в тот момент, когда ему дозарезу надо было спешить. Как всегда он стал «обхаживать» проклятую мозоль, задирая пятку кверху, нога вылущивалась из задника с глухим свистом. Казалось, бежит в мыле человек — у него екает селезенка. Андриян Иваныч пошел тише. Не стерпев, сел на землю переобуваться. Тревога достигла предела. И как всегда в такие минуты к горлу подкатил ком, началась изжога. Икая, Андриян Иваныч пошел, как заяц, длинным прыгом.

Перестоялый лесок подсолнуха издали казался черным. Чашки уже были срезаны и насажены на тычки. На расчищенной площадке, недалеко от куреня стояла небольшая из-под проса конная молотилка. В самых джунглях подсолнуха девчата проламывались сквозь стебли, в фартуках и корзинах, сносили чашки в одну кучу, откуда их забирала

Бригадир грянул картузом о землю...

подвода. Возле самой молотилки на брезенте вокруг учетчика Косякина, безбородого ветхого деда, сидели пять человек. Учетчик объяснял им, проводя карандашом по желтому листу, как не в обиду он производит вычисление по соткам и про дробь. Андриян Иваныч замер, как вкопанный, не веря глазам — молотилка не работала. Немо, по-рыбьи пуча глаза, играя желваками, с открытым ртом стал он приближаться, слыша разговор. Сынок Марфы Петровны — Никифор сказал:

— Десятичная дробь легче простой.

— Не суйся, тебя не просят,— прикрикнула на него плечистая и очень шустрая девка, дочь бригадира, Нюра.

— Он учился в шекаэм и знает,— вступилась за Никифора высокая чернобровая девушка Настя Сундеева, гордившаяся тем, что на своем веку видела два больших города — Ташкент и Самару.

Остроносая, худенькая Ленка Саблина, сидевшая рядом с Сундеевой, сказала хмуро:

— Без дроби теперь нельзя соревноваться. Я век не забуду, как Дарья выиграла у меня сотку. Как вспомню, так у меня резь в сердце. И подумаешь — сотка — невидаль.

В ту же минуту перед глазами у них промелькнуло и шлепнулось нечто серое. Это бригадир грянул картузом о землю. Его жест был красноречивее слов. Ребята повскакали с мест. Учетчик стал разминать отекшую ногу, виновато поднялся, уронив желтый лист. Андриан Иваныч наступил на него каблуком.

— Только что,— сказал он, проводя ладонью по липкому лбу, — только, ну полчаса назад, приезжал Зефиров и редактор из Самары. Наш колхоз пишет письмо к другим колхозам, чтобы они подтянулись. Газета на весь мир напечатает, что зябь мы кончаем восьмого, а подсолнух двадцатого. Завтра я отправляю на элеватор двадцать центнеров подсолнуха. Пущай не двадцать, пущай одиннадцать. И вот я бегу и что вижу тут — молотилка сама по себе, а вы тоже по себе сами... Разговорами заниматься, когда у меня в печенках громадный вопрос! Совести нет у вас...

— Погоди, ты разберись, — перебил его Косякин, подавая ему картуз,— почему стоим, потому нет подвоза. Как только подвезут нам кучу, так мы ее враз перетрем. И опять ожидаем.

— А ты поставь так, чтобы не ждать. Молоти, а не жди.

— К двадцатому нам не успеть, — воскликнул Никифор.

— Заранее не суди, если надо — успеем, — сказала Лена Саблина.

— Ребяты, на вас надея, на вас, ребяты, — понизив голос, задушевно сказал бригадир,— а пока вот что — летите все на сбор. Элеватору таки мало дела. Я стану у барабана, Сергей Иваныч — у выхода, Настя — у веялки, Никифор пущай сгребает. Уплотнимся немного. Остальные — арш туды...

Убегая, Нюра крикнула отцу:

— В котелке у меня суп... наварила...

Молотилка сразу взяла крепко и в одной ноте выла до вечера. Раз за разом бросал Андриян Иваныч в ее открытый рот черствые тарелки подсолнуха. На другом конце молотилки двигался учетчик, выгребая с решеток клочья разбитых чашек. На его пыльные брови была туго надвинута старенькая кепи. Сборщики шли рядом, с треском ломая стебли.

— Во-он как! Нелегкая... чавкай! — покрикивал бригадир, бросая в молотилку подсолнух и подзадоривая погоныча на конном приводе,— крути... Сень... не отставай...

Дышла привода юлили быстрее, чем стрелки циферблата шли по кругу, показывая на вечер. Возчик пригнал бычков, запряженных в арбу. Андриян Иваныч нагрузил с ним восемь мешков семячек и, крикнув Косякину: «К двадцатому, ни на день позже, что хошь!», пустил бычков рысью. Он словно убегал, слыша возглас Косякина: «успеем ли, Андриян Иваныч!» Не оглянулся. Бычки пошли шагом. Вдруг он вспомнил о лекарстве для Федьки и соскочил с арбы. Через минуту выбежал из куреня, засовывая в карман склянку с венским питьем. Лег на мешок брюхом, и понесло его под скрип певучей арбы.

Уже в сумерки он проезжал мимо гребней зяби. Ее темнокоричневая пелена, сливаясь на горизонте с закатом, казалась набухшей и рваной. Конные пахари уже подались на село. На бугор со стороны «Красного октября» вышел могучий трактор ЧТЗ и пустил в сумеречный пейзаж степи белый столб света. Возчик, сухонький старичок Никита, радостно протянул:

— Красавец... по сорок гектаров в день берет.

Андриян Иваныч, соскочив с арбы, быстро пошел вдоль пахоты и скоро пропал в темноте. Через полчаса фура поравнялась с ометами. Возчик услыхал позади топот и остановил волов.

— По семь кругов дали, плуты,— сказал Андриян Иваныч, влезая на арбу.

Среди плечистых ометов, на току, ровном как низина гористого ландшафта, были видны неясные очертания молотилки. Андриян Иваныч окликнул караульщика. Из-за ометов вылез здоровый дед в грубой бурке и в круглой шапке, с плоским, как у кадки, дном. Разговор длился минут пять. Обрадованный беседе дед пошел за арбой.

— На два дня тут, кончат! — говорил он со словоохотливостью ночного сторожа, — хлебушка вдосталь, по пять кил; пшеница по нонешнему году сурьезная, одна в одну; спокойной тебе ночи, Андриян.

Уже ночь залепила избы, когда бычки вошли в околицу. Андриян Иваныч лежал на мешке, пригревая его плечом, задрав лицо к созвездию, белому, мучнистому и густому, как крупчатка. На волах, с туго набитыми мешками, ночью, в мелодиях арбы, возвращался в село после трудов праведных тяжелый, потный трудодень Андрияна Иваныча. А позади настороженно, как сторож в будке, выжидали утра тока и пахоти.

По белому столбу великана ЧТЗ шел тракторный отряд на ночную вспашку. В его свете ночь бледнела до-синя, пятясь, как слепая, к лесу. Ночи не стало.

— Сдашь Елину, он должно у себя в избе, — сказал Андриян Иваныч, передавая возчику квитанцию,— свалите в амбаре, а я побегу на картошку.

Он спотыкался на картофельной разворочи, ища межу, до которой дошли копальщицы; глухо крякнул, увидев, что межа, как раз там, где он наметил. Окликнул сторожа. Никто не ответил. Подошел к навесу, где была свалена выкопанная картошка. Выбрал самый крупный плод, взвесил его на ладони и, усмехаясь, положил в кучу, осторожно, как яблоко. Нахмурился, увидев брошенную кем-то лопату. Положив ее на плечо, пошел на другой конец навеса. Сторож дремал, сидя на телеге, опрокинутой колесами вверх. Андриян Иваныч рявкнул у него над ухом. Сторож панически заметался.

— Завтра поговорим! — бросил ему, как плевок, Андриян Иваныч и пошел на село, держа лопату на плече.

Казалось, день его был на исходе. Зарей бабы подымутся на картошку. Кнорин со звеном выйдет на ток ровно в пять, пахари еще раньше. День завтрашний спланирован, завинчен; осталось назначить кого-нибудь на элеватор и отнести Федьке лекарство.

Он застал Федьку в кругу семьи за ужином; ели селедку с солеными огурцами и вареной картошкой. Катерина Степановна, мать Федьки, подала на стол лапшу с молоком. Федька запустил ложку в миску, раньше чем мать поставила ее на стол.

— А молока тебе не следует есть,— сказал Андриян Иваныч, вынимая лекарство.

— Я ж весь день на печке грелся, теперь ничего,— воскликнул Федька.

— А... — и Андриян Иваныч разочарованно спрятал склянку,— к лучшему, значит, завтра отвезешь подсолнух в Неприк.

— На станцию ехать для меня первое дело!

— Правда ль, что на трудодень дадут по триста грамм подсолнуха,— спросила Катерина Степановна,— по мне это пуд масла, а ты с дочками вдвое наценишь... Сла-бог, колхозник теперь не в обиде.

Когда Андриян Иваныч уже был в сенях, она крикнула:

— Насеяли подсолнуху — пропасть, чтоб только успеть выбрать его до заморози.

Андриян Иваныч отступился и опрокинул пустое ведро. Тут вот в темных сенях, ища дверную клямку, он вдруг ясно представил, что к двадцатому числу не успеет обмолотить подсолнух. Страх, который гнал от себя, почти весь день, поймал его тут в сенях и ослепил — дверь не поддавалась, у ноги бренчало ведро. Он ударил по нему носком, примял мозоль и, застонав, выбежал на улицу. Лопата волочилась сбоку. Далась она ему. «Струмент разбрасывать», — подумал он и, хромая, взъерошенный, пошел, не видя перед собой ни огоньков, ни изб. Подсолнух не выходил из его головы, он напряженно обдумывал как быть, и вдруг, взмахнув лопатой, быстро зашагал к избе председателя, крикнул в окно бледной женщине.

— Дома?

— Да нету, — на собрании!

Подымаясь по трем знакомым до последнего сучка лесенкам крыльца, он заглянул в окно. Контора чернела от картузов и шапок. В облаках дыма лицо Черемушкина, сидевшего за столом, казалось опухшим и безглазым. На края стола, возле его локтя, лежала пачка папирос, к которой тянулись потные бригадиры. На подоконнике спал счетовод. Стекло пузатой лампы было закопчено с той стороны, где сидел председатель. Он поворачивал ее светлым боком на ораторов. В тот момент, когда Андриян Иваныч открыл дверь, говорил Токарев, обращаясь к бригадиру третьей бригады Аверину.

— Тракторы вам вспахали на тридцать гектаров больше, чем нам... а ты говоришь — пятнадцатого... Да на пари берусь завтра дать семь с половиной кругов.

Бровь Андрияна Иваныча лихо скакнула вверх. Он увидел своих активистов в первом ряду, многозначительно кашлянул. На него оглянулись. Не выпуская лопаты, весь в бронзовых тенях, скуластый и бурый, он перевалил порог.

— Насчет зяби я не сомневаюсь,— сказал он стуча лопатой о пол,— к вось-

Опершись на лопату, Андриян Иваныч спал...

мому обеспечу. Ну, гложет меня подсолнух. Я б себе голову расшиб, ежели б не успел порешить его к двадцатому. Придумал я дать два громадных штурма. В выходные дни вся бригада от мала выйдет на подсолнух.

Он грузно опустился на лавку, рядом с председателем, придавив локтем пачку папирос. Ее торопливо выдернул щуплый бригадир Павдюрин. Это рассмешило председателя, который крикнул собранию:

— Кто имеет слово по штурму!..

В час ночи Андриян Иваныч вышел из конторы, волоча лопату сбоку, как саблю, странно успокоенный, сытый блаженной усталостью. Войдя во двор, он вспомнил старуху и, улыбнувшись, открыл ворота в огород. Как-то озорно надумал в этот поздний час разделаться со своей домашней обязанностью.

Через полчаса Дарья, вышедшая во двор, увидела его спящим около навеса, у ямы. Опершись на лопату и придавив спиной плетень, Андриян Иваныч спал, стоя над разворошенной кучей картофеля. Вдвоем с матерью, выбежавшей наспех в толстых шерстяных чулках, они стали подталкивать его к дверям, он же мотал головой, покорный, как вол.

— Не к пожару, подождет,— говорила

1927 год
ОКТЯБРЬ
2
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Кампания за разрыв отношений с СССР во Франции.

Подземные толчки на южном берегу Крыма.

Вручение верительных грамот персидскому шаху нашим послом тов. Давтяном.

Начало кампании по реализации 1-го займа индустриализации.

Волна откликов, приветствующих исключение из партии Троцкого и других оппозиционеров.

старуха, вынимая из печи горшок и другой поменьше.

— Дай сыму, опять натер ногу! — сказала Дарья и стала дергать на себя его тяжелый чобот.

Так и сел он за стол — в одном сапоге, шевеля пальцами другой босой ноги. Ел много. Когда же поднял отяжелевшие глаза, — в избе спали: Дарья на кушетке, перекрывшись через голову байковым одеялом; старуха на кровати — скрючившись, словно летя в бездны сна кувырком. На печи, где обнялись в тепле трое детей, из-под кожуха высунулась детская ножка с крохотными ноготками. Андриян Иваныч потянулся с хрустом, перед отяжелевшим взором повернулся колесом весь его огромный трудодень — с людьми, повозками и гектарами. Держа карандашный огрызок, без наклона, прямо, налегая на него, как на заступ, Андриян Иваныч записал в тетрадочке:

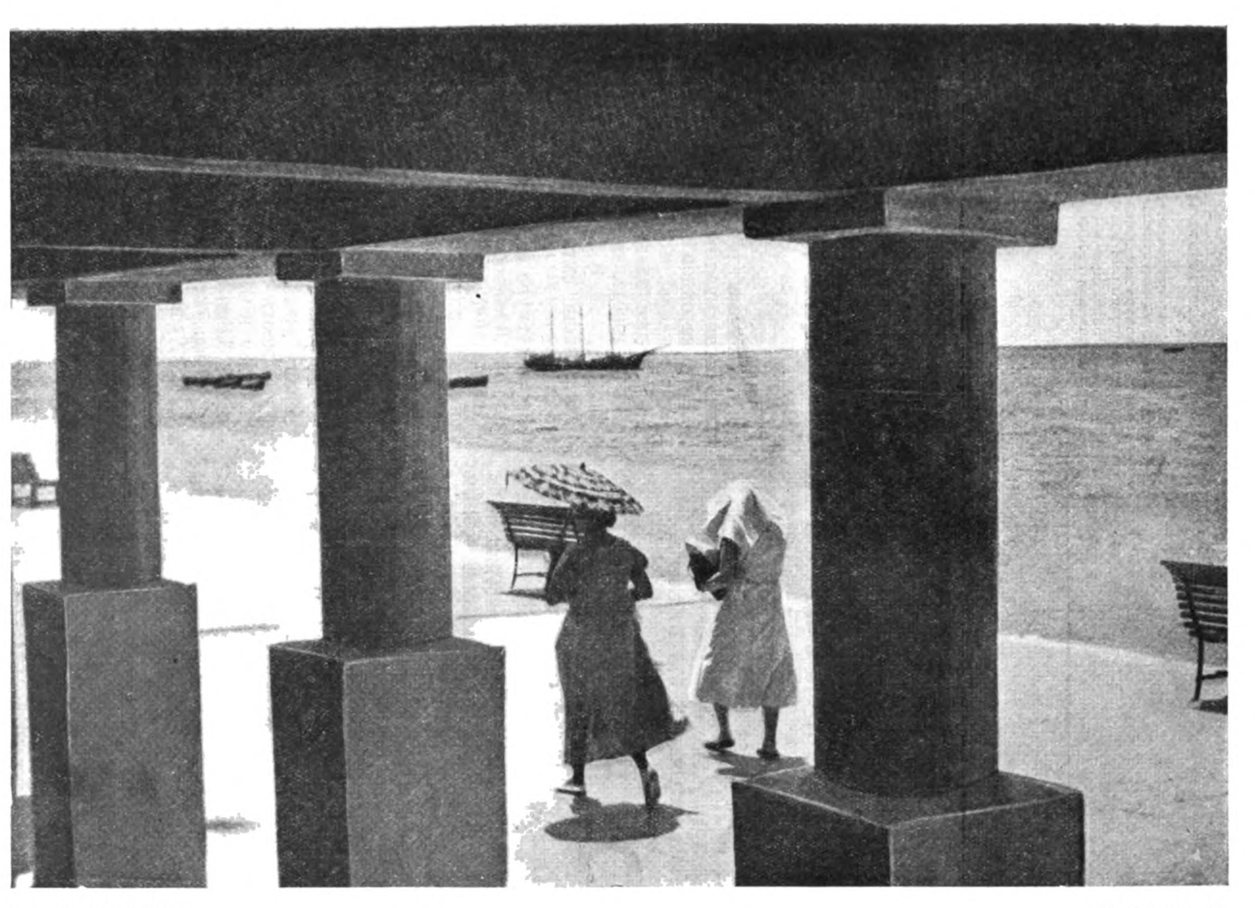
«Фторое октября: двенадцать с половиной гектаров зяби, двадцать пять центнеров подсолнуха, четыре гектара картошки. Пшеничку — раз-два — кончу. Штурм — не в плане, ну выход, ежели поставлю бригаду с интересом. Сбегать к трактористам. Сбегаю. Перевезти веялку в кузню. Перевезу».

Шагнул к кровати, и все его бригадирское мощное и усталое вещество сладко заныло; отработанный пар вышел в глубоком вздохе. Андриян Иваныч рванул с себя одежду; склянка с питьем покатилась в угол.

1 750 000 рублей тратят

ЕЖЕДНЕВНО

профсоюзы на культурное строительство и санаторную помощь



Сочи. Отдыхающие

Фото Прехнера

1928 год
ОКТЯБРЬ
2
ВТОРНИК

Выход в море для испытаний советского теплохода „Ян Рудзутак".

Опубликование предварительных итогов о размещении 2-го займа индустриализации.

„Красин", возвращающийся после спасения Нобиле, вошел в пролив Скагерака.

Принятие резолюции в ряде парторганизаций о борьбе с остатками троцкистской оппозиции.

аэропорт

Н. Кальма

«Сообщите причину долгого нахождения в воздухе Л 574 и где имела посадку. ЦДС».

«Радируйте, какой загрузкой вылетел Л 164».

«Из Ростова Харьков. Выпускайте Л 845 Врублевского немедленно дайте местонахождение Л 575 не позже 1200. Л 6 14».

«Вынужденная 30 км от Москвы Л 570».

Радиограммы пачкой лежат на столе. Пять утра. У дежурного по аэропорту зеленое от усталости лицо.

День начался с ночи. Зазвонил телефон. Дежурная сестра ночным, сонным голосом сказала, что да, она слушает и кого ей будить. В трубку назвали рейсовых — Воскресенского, Турбая, Ситникова и звено молодых из батайской школы, перегоняющих машину из Харькова на школьный аэродром.

Пилоты спали вполглаза. Едва сестра стукнула в двери спален — все уже проснулись. По санаторию пошел густой говор, смех. Дразнили Бондарчука, который только два часа тому назад вернулся с вечеринки и теперь никак не мог разлепить глаза.

Но Бондарчук имел право не вставать. Он был не рейсовый, ему не предстояло лететь в этот день. Другое дело тому, кто летит.

— Режим, не режим, а соблюдать порцию надо, — говорят пилоты.

«Соблюдать порцию» — это значит следить за собой накануне полета и проводить время так, чтобы назавтра за штурвалом голова была свежа, глаза ясны и состояние духа уверенное и спокойное.

Разбуженные рейсовики наспех мылись, поглядывали в окна, — какова погода. Но за окном было еще совсем черно.

— Ну, там на аэродроме видно будет. Здесь в городе, и неба не видать — тесно.

Завтракали сытно, стараясь наесться про запас.

Турбай хмуро совещался со своим механиком Дребезовым насчет «Катюши». У «Катюши», т. е. тяжелого пассажирского Калинина шалил мотор. Турбай вел машину в Москву — лечиться. Вчера мотор два раза заводился, и оба раза Турбай пытался вылететь, но машина капризничала, давала перебои, «барахлила».

— Ее разогреть нужно, понимаешь, — говорил Турбай, — главное, не давай мотору остывать, тогда он сразу заведется. Вот будем в Орле — смотри, чтоб там не засесть. Здесь и то полтора сутка стоим.

Дребезов острил насчет того, что будет, мол, интересно, когда мотор перестанет работать в воздухе. Толстенький, спокойный Турбай отвернулся — не хотел шутить на эту тему.

Вообще об авариях в пилотской среде говорить не принято.

— Катастроф без причины не бывает. А если случаются, значит, либо машина подвела, либо, но это очень редко, сам пилот растерялся.

Зато охотно и часто рассказывают случаи комичные и нестрашные, где летчик по неопытности сдрейфил, сделал «козла» и т. п.

— Мне Котенко рассказывал (смех)— полетел он в первый раз на Кавказе и вдруг при развороте видит — горы на машину наваливаются. Он вверх на две тыщи — что за пропасть, (смех) растут горы, подымаются. Он еще выше — на четыре тысячи, а горы вот-вот накроют самолет. Совсем вспотел парень. Ну, он догадался — спланировал, сел на аэродроме, дышит тяжело. Тут ему рассказали, что в горах всегда при развороте такое впечатление получается. Земля совсем под другим углом видна.

Пилоты и механики смеются. За утренним завтраком собрались все, даже те, которым сегодня не лететь, даже Бондарчук с всклокоченной прядью на лбу. Привычка к раннему вставанию вкоренилась еще со школьных времен. Бывало в два часа ясного летнего утра собирались на школьном аэродроме и часа четыре гоняли на легких учебных «авро».

И даже теперь, осенью, когда светает поздно, все-таки встают до света.

— Который час? — спрашивает кто-то.

Из всех карманов вылезают огромные точные самолетные хронометры. Прилетев на место, пилоты никогда не забывают вывинтить их из машины и забрать с собой.

Часы в жизни пилота едва ли не самый важный прибор. Если Ситников скажет «как часы» — значит, он выполнит задание и вернется ровно к назначенному времени. Зайдет к дежурному, вынет хронометр:

— Как часы.

Это значит, что пилот, работая на своей точной машине, хочет и в себе выработать такую же четкость и точность.

Мерило времени у пилотов совсем иное, чем у нас, людей, передвигающихся на земле. Для нас час — скучная единица времени, за которую едва-едва успеваешь добраться от одной окраины города до другой, прочесть двадцать страниц книжки или пообедать.

Для пилота час — это перелет из одной республики в другую, это — равнина, которая переходит в гористую местность, или пустыня, превращающаяся в цветущие сады и города.

Пилот знает, что за два часа он перелетит Сурамский перевал и долетит до Кутаиса, а еще через два часа он будет лететь над дымно-голубым морем и оливковыми рощами Нового Афона.

За рейсовиками приехал автобус с аэродрома. В автобусе каждые два места заняты одним человеком, так расперло пилотов в меховых комбинезонах. Некоторые везут свою «амуницию», свернутой в гигантские уродливые узлы.

Очень серый рассвет. Дворник звонко метет совсем еще пустынную улицу. Пилоты хозяйственно оглядывают небо. Кажется, нет погоды. Впрочем, сейчас ничего еще нельзя сказать — рано.

Семь часов утра. Желтая трава аэродрома подкашивается от ветра. У флюгера очень несерьезный вид — он похож на сетку для бабочек. У самолетов на старте возятся технические бригады — заправляют, чистят, проверяют работу моторов. Пилот, прилетев, дает бригаде указание, что надо сделать, какой текущий ремонт произвести в машине. После этого он уходит и встречается со своим самолетом только за минуту до вылета.

Если пилот не очень хорошо знает мотор, то, вернувшись из рейса, он не сможет сказать своему технику, что нужно сделать у самолета. Техник будет биться над самолетом целый день, а его можно наладить в один час.

Бригадир Молодцыгин клянет на чем свет стоит какого-то молодого пилотишку, который «понимаете, бросил свою машину и даже не поинтересовался, что у ней в брюхе делается».

Зато Ситников накануне по несколько раз возвращался на аэродром, лез в кабину.

— А ну-ка, Молодцыгин, что-то тут клапан пошаливает. Проверь-ка.

У пилота, долго летающего на одной машине, вырабатывается шестое чувство — знание и понимание этой машины. Вот неровно застучал клапан в цилиндре. Ситников настораживается.

Ну-ка, в чем дело? Вместе с механиком он проверяет клапан, протирает нагар на свече.

И только когда все сделано, Ситников выпрыгивает из кабины, уходит в дежурку. Молодцыгин смотрит ему вслед:

— Культурный парень, ничего не скажешь. И с мотором экономно обращается.

В комнате дежурного — центр жизни каждого аэропорта. Сюда являются все пилоты, — и только что прилетевшие и улетающие. Сюда приносят радиограммы и сводки погоды. Здесь пишутся наряды и заполняются бортбухи. Здесь выдаются записки на горючее для самолетов, на обеды для летчиков, путевки в санаторий, билеты на самолеты и проч. и проч.

В комнате дежурного, проводящего на дежурстве двадцать четыре часа, постоянная толчея, телефонные звонки, шум. И хоть есть отдельная комната для пилотов, все же приятно сидеть здесь, на клеенчатом диване, курить и болтать в ожидании погоды.

Чем моложе дежурный, чем крупнее аэропорт — тем строже выполняются постановления «посторонним вход в дежурную воспрещается» и «без дела не входить». Но вот Иван Павлович Шурыгин — старый, седоголовый уже человек, бывший пилот, налетавший не одну тысячу часов в Средней Азии и в Сибири, он и сам не прочь поболтать с пилотами, когда выберется свободная минутка. Как раз сейчас немножко посвободней — еще не пришли сводки погоды, день сероватый, и пилоты в меховых комбинезонах так заполнили комнатушку дежурного, что трудно дышать.

И Иван Павлыч охотно рассказывает о том, как летали на старых заплатанных «ховеландах» первые большевики-воздушники. Как возложено было на него и еще на одного пилота задание — «бомбить» деникинский казачий разъезд.

— Задание дали, а бомб не дали — не было у наших ни единой бомбочки. Ну, мы с Николаем уж не первый раз в таких делах бывали. Набрали консервных банок побольше, дырки в них просверлили и — полетели.

Увидели казаков и — давай бомбить банками. Банки падают и страшно свистят, а доблестные казачки схватились и ну — бежать. Вот была потеха!

Иван Павлович завидует молодежи:

— Теперь что. Теперь летать можно с закрытыми глазами. Точнейшие приборы, «Пионер», «вариометр», указатель скольжения... А тогда мы шли по горизонту, по щеке улавливали правильность скольжения. Почти никаких приборов не было.

Он оглядывает пилотов, пыхтящих в своих меховых одеяниях.

Иван Павлович знает их всех, знает нрав и привычки каждого пилота. Знает, что Воскресенский спокойно полетит в любую погоду и никогда не собьется, что Петров лихач, любит рисковать и не жалеет машину, что его нужно держать в ежовых рукавицах, а то он от своей молодости бесится, знает что Тесленко осторожный и вдумчивый пилот, изучающий карту и приборы, культурно обращающийся с самолетом, всегда точный и аккуратный, знает, что Бондарчук кричит своей машине на старте: «Но-но, милая, поехали». Все знает Иван Павлыч — дежурный.

Еще нет погоды, но уже ходят среди пилотов слухи, неизвестно откуда взявшиеся, что на Киев и Одессу лететь невозможно — туман, а на Ростов полетят две машины — там ясно и солнечно.

Одесские пилоты ходят сумрачные — туман бьет их по карману, и каждый лишний час на земле отзывается на выполнении летного плана. Каждый пилот получает зарплату — 475 рублей в месяц плюс приработок — около 6 копеек за килограмм груза в летный час. Таким образом, за перелет с полной загрузкой, скажем из Ростова в Харьков, пилот на большом самолете заработает еще около шестидесяти рублей. Есть пилоты, «вылетывающие» до двух тысяч в месяц и выше.

Механики Капустин и Дребезов идут на старт, к своим машинам. Капустин так молод, что всякую минуту и по всякому поводу краснеет и смущается. Он уральский комсомолец, недавно кончил школу в Батайске и теперь летает на «Катюше».

— Скажи, — конфузливо спрашивает он Дребезова, — а тебя, когда ты летишь, ко сну клонит?

Дребезов смеется. Он знает эту болезнь эфира, которой подвержены почти все молодые механики. Когда самолет идет плавно, без «болтанки», когда в

В объезд района. Начполитотдела должен успеть побывать сегодня в нескольких колхозах

Фото Д. Дебабова

На Новой земле. Птичьи базары

Фото Л. Портенко

воздухе все спокойно, однообразное гудение пропеллера убаюкивает. Через час нет никакой возможности бороться с сонливостью. Ровно щелкают клапаны цилиндров, плавно скользит самолет. Голова невольно клонится на грудь, глаза закрываются. Пилот смотрит на заснувшего механика, он толкает его в бок. Капустин подскакивает на сидении и, чтобы стряхнуть дремоту, высовывает голову за козырек кабины. Ледяной ветер ошпаривает лицо. На некоторое время сонливость исчезла.

Дребезов смеется. Нет, этого с ним уже не случается. Он летает уже давно и успел выработать в себе разные «иммунитеты». Сон его не берет. Качка — тоже. Он покровительственно хлопает Капустина по плечу:

— У тебя это скоро пройдет.

Девять утра. Маленький, давно небритый радист принес сводки погоды. Пилоты повскакали с мест.

— Орел — высота облаков двести метров — видимость пять километров. Курск — видимость три километра, высота сто метров.

Киев — высота полтораста метров. дождь, туман, видимость пятьдесят метров. Ростов — видимость десять километров. Ясно.

Киевский пилот окончательно понурился.

— Везу зарплату рабочим, а здесь туман навязался.

Пассажиры на Киев — агроном, спешащий на конференцию, директор обувной фабрики, инженер с Днепрогэса — столпились вокруг дежурного.

— Что делать?

— Закажите Киеву погоду еще на одиннадцать часов, — распорядился Шурыгин — и метеоролог отправился к радисту — вызывать Киев и требовать еще одной сводки погоды.

Шурыгин просматривал сводки на Орел и на Ростов. Пилоты, затаив дыхание, следили за ним. Было похоже, будто учитель просматривает классный журнал и смотрит, кого бы вызвать. Но здесь каждому до смерти хотелось быть «вызванным», т. е. лететь.

— Ну, вот что, — сказал, наконец, седой дежурный, — Ситников может идти выписывать погоду на Ростов и давать мне свой бортбух. А те, кто летят на Орел — пусть еще раз закажут погоду. Там, возле Курска, что-то коряво — облачность низкая. Вон Снегирь до сих пор не летит — отсиживается...

Пилоты нудными голосами стали «торговаться»:

— Иван Павлыч, можно лететь... честное слово, можно. Если будет плохо — вернемся...

Иван Павлыч качал седой головой.

— Не имею права выпустить. Инструкция.

Упрашивали недолго, да и то только для проформы, по-школьнически. Знали, что по инструкции лететь при облачности ниже полутораста метров не полагается. И хотя сейчас за штурвал сядятся без всякого чувства риска, очень по-деловому, как машинисты на паровоз, как шоферы на авто, хотя думают только о том, что такое-то количество груза нужно доставить туда-то за столько-то летных часов, все же знают пилоты, что в воздухе — шутки плохи и «на ты с машиной разговаривать не следует».

Черная точка приближалась. Загудел взрывом мотор и сразу стих. Самолет с выключенным мотором шел на посадку. Стартер махал флажком. Дежурный и пилоты смотрели в окно, откуда открывался весь аэродром — осенне-желтый и пасмурный.

— Это должно быть Снегирь на П-5 из Белгорода летит, — сказал дежурный.

Он вышел на аэродром и за ним повалили из комнаты все остальные. Через несколько минут, неловко ступая по полю затекшими ногами, подошел прибывший Снегирь, скуластый и красный от ветра. Его встретили смехом. Уже известно было, что он отсиживался на «вынужденной» где-то возле Белгорода.

— Ну, что? Как?

— Прижимает, понимаешь, туман. Да и мотор у меня чего-то барахлил. Думаю, лучше сяду, обожду. Как на зло — ни одной ровной площадки. Наконец, выбрал, спланировал. Сел, чуть-чуть в пашню не угодил...

Пилоты не зря говорят, что туман «прижимает». Когда самолет попадает в сплошную, вязкую, как тесто, белую массу, когда не видно ничего ни спереди, ни

сбоку, ни внизу, ни вверху, пилот невольно отжимает ручку газа, чтобы держаться ближе к земле, поближе к ориентиру. В тумане легко сбиться с курса, легко столкнуться с встречным самолетом, налететь на фабричные трубы, на провода высокого напряжения. Пилот начинает слегка нервничать. Вот, в разрывах тумана что-то мелькнуло. Кажется, все в порядке. Нет, опять затянуло все белой рыхлой гадостью. Клапаны стучат глуше. Пилот дает полный газ, ему кажется, что не параллельно земле несутся плоскости машины, кажется, что самолет накренился. И бывали случаи, их знают все пилоты, когда туман хоронил самых опытных и храбрых воздушников.

Снегирь предпочел выждать. Уж очень нагадил ему туман года три назад, когда он при таком вот пикировании чуть не угодил на крышу деревенского дома.

— И долго сидел? — добивались кругом.

— Да со вчерашних четырех часов... Летчики загрохотали:

— Паша, да ты б волов нашел. Они резвые, живо б тебя доволокли.

Паша огрызался, как умел. Он был в сильной обиде на погоду: во-первых — прорыв плана, во-вторых — простой, в третьих — подшипники, которые он вез для тракторного завода, — сильно запоздали.

В фюзеляже и под «брюхом» «П-5» четыре тяжелых деревянных ящика. В деревянных ящиках—цинковые, а в цинковых — заботливо упакованные и смазанные вазелином подшипники.

— А вчера тебя весь день представители с завода дожидались, — говорят, очень им срочно подшипники нужны.— сказал дежурный.

Снегирь чертыхнулся и обозвал погоду нехорошим словом.

В пакгаузе аэропорта лежат срочные грузы. Здесь семена для посевов, тюки с товарами Торгсина, карбид для заводов, запасные части машин, хинин для малярийных районов и те же ящики с подшипниками. В хорошую погоду пакгауз каждый день опустошается — самолеты развозят все грузы. 14 миллионов километров покрыто самолетами ГВФ за погожие месяцы года, 52 000 пассажиров и четыре с половиной тысячи тонн грузов и почты доставлено ими во все концы Союза.

Сорок пар рейсовых самолетов в день отправляет и принимает в погожий день Москва, двадцать пар — Харьков и даже Евлах — маленький аэропорт — и тот ухитряется отправить девять пар машин в день.

А осенью пакгаузы забиты грузом, график рейсов сломан, пассажиры часами дожидаются в аэропортах.

— Нет погоды. Рейс отменяется. Туман.

Но есть случаи, когда приходится лететь, не взирая на погоду, когда летят, потому что этого требует страна. Механосборочный цех Челябинского завода был под угрозой остановки. Нехватало подшипников фрикционного вала, ввозимых из-за границы. То есть подшипники были, но они лежали далеко на юге, в Одесском порту.

В этот день дежурный аэропорта был сговорчив. Двенадцать самолетов вылетели на восток. В Челябинске на аэродроме дежурил директор и главный инженер завода. Восемь часов тому назад механосборочный цех был остановлен. Директор тоскливо смотрел на небо. И вот — показалась одна птица, другая, третья... Летчикам была устроена торжественная встреча.

190 почтовых и пассажирских рейсовых самолетов летят **ЕЖЕДНЕВНО** над просторами страны. В день все они вместе покрывают расстояние в **84 500 КИЛОМЕТРОВ**, совершая путь, вдвое более длинный, чем путь вокруг земного шара.

Вверху летит самолет

Фото Прехнера

Радист ловит волну из Ростова, из Киева и «переругивается» молниями с каким-то аэропортом, не дающим сведений о самолете.

Метеоролог прилип ухом к телефонной трубке:

— Алло. Ахтырка? Как погода? Погода как?

— Краматорская... Краматорская... Принимайте самолет.

Два часа дня. Все та же муть и ветер. Вася Ситников, задержанный дежурным, потому что из Краматорской пришли дополнительные неблагоприятные сведения, нетерпеливо мнется у стола. Метеоролог записывает шифром, но Ситников успевает прочесть. Слава богу, видимость хорошая, лететь можно. Машина загружена и механик сообщает по телефону со старта, что все благополучно. Метеорологичка — бесконечно любезная и бесконечно болтливая, объясняет Васе по карте все свои пометки цветными карандашами.

— Здесь — теплый фронт, здесь — низковато, держитесь правей, здесь — окклюзия.

Ситников слушает внимательно, хотя прогноз погоды кажется ему неубедительным. Он берет прогноз и спускается вниз, к дежурному.

Дежурный выписывает наряд, Ситников расписывается, забирает бортбух и уходит. Через несколько минут слышно гудение мотора. Вася ушел на Ростов.

Взрыв. Рев пропеллера. Стоп. Все тихо. Опять рев.

— Это Турбай заводится, — говорят пилоты.

Турбаю окончательно не везет. К двум часам дня очистилось небо возле Белгорода и Курска. Оттуда сообщают, что лететь можно, а у Турбая, как на зло,— мотор не заводится.

Дребезов, в туго затянутом шлеме, сидит в кабине. У него от напряжения выперли скулы на щеках.

— Внимание, контакт.

— Есть, контакт!

Люди отбегают в сторону. Пропеллер вздымает вихрь сухой травы, земляных комьев, пыли. Самолет делает опытный «пробег» по полю. Еще и еще раз. Турбай пробует рукоятки управления. Ура, все в полном порядке. Маленький и толстый, он спешит к дежурному.

— Во-первых, вот тебе четыре пассажира, а во-вторых вывезешь на трассу Зубакина, — говорит дежурный.

Турбай уже знает Зубакина — молодого пилота, только что кончившего под Тамбовом авиашколу. Еще вчера они вместе просматривали карту полета от Харькова до Москвы. Зубакин несколько раз просыпался ночью — мысленно разворачивал карту.

— Лететь вправо от железнодорожной линии, потом там овраги, за лесом брать еще правей...

Зубакин знает, что он должен выучить на зубок новую местность. Сегодня его впервые вывезет на новую трассу старший, более опытный товарищ. Ему, Зубакину, надо смотреть, запоминать, учиться. Через четыре-пять раз он сам сядет за штурвал и будет осваивать новый маршрут.

Турбай и Зубакин идут на старт, за ними с легкими чемоданчиками следуют пассажиры: инженер-американец из Сталинграда с женой, курчавый представитель Грознефти, едущий с докладом к наркому, и больная жена врача из Краматорской, которую везут в Москву оперировать.

Американец наклоняется к дежурному:

— Пожалуйста я спросить вас: этот летчик Тру... Труба — хороший летчик? Мой жена очень боится...

Иван Павлович усмехается:

— У нас нет плохих летчиков. Есть старые, есть молодые, но плохих летчиков нет.

В этот день больше никто не прилетал в Харьков — ни из Москвы, ни из Киева, ни из Ростова. «Засевшие» пилоты просили снова выписать им путевки в санаторий. Начинало вечереть. Шел четвертый час. Дежурный объявил, что рейсы отменяются. Хмурые пассажиры требовали обратно деньги. Технические бригады окончили осмотр самолетов и ушли мыться.

В аэропорте опустело. Иван Павлович Шурыгин велел затопить в дежурке печку. Было уже холодновато. Телефон звонил реже. Дежурный прилег на клеенчатый диван и в первый раз зевнул.

Строители метро

Фото Г. Грачева

1929 год
ОКТЯБРЬ
2
СРЕДА

Переход на непрерывную рабочую неделю ряда производств и учреждений.
Обстрел в районе Благовещенска со стороны китайских войск.
В ЦКК ВКП(б) поступило заявление группы оппозиционеров об отказе от троцкизма и признании своих ошибок.
Подписание предварительного англо-советского соглашения о возобновлении дипломатических отношений.
Заканчивается чистка партии.

квартет

Н. Старов

Город Лысьва стар и черен. Прокопченные деревянные дома с затейливыми оконными переплетами окружают дымящий завод. Завод изготовляет жесть — авиационную, автомобильную, консервную, ведерную и посудную. Металл варят в мартенах, слитки катают в сутунку, сутунку вальцуют в листы. Листы сортируют. Консервные и ведерные лудят. Из посудных штампуют чайники, кастрюли. Их покрывают эмалью.

Станция Лысьва имеет эмалированную вывеску. Эмалированные дощечки с витиевато выписанными фамилиями владельцев висят на дверях каждого дома.

Дощечки — лысьвенская экзотика.

«Николай Иванович Правков» — выведено под эмалью на одной из дверей.

Хозяин выходит во двор.

Это сравнительно молодой человек. Выражение его лица немного насмешливо. Глубокие морщины около рта придают ему это выражение.

Он загоняет в хлев двух коз, бросает им свежего сена и открывает ворота в сарай. В сарае — автомобиль. Аккуратный, новенький легковой «ГАЗ» блестит лаком и никкелем. Это пятый автомобиль в Лысьве. Первый принадлежит директору, второй — главному инженеру, третий — начальнику мартеновского цеха, четвертый — парткому, пятый — рабочему, сталевару Николаю Ивановичу Правкову.

Четыре сталевара садятся в автомобиль. Фары машины сверкают. Она мчится по Лысьвенским улицам, носящим на себе следы благих, но незаконченных еще начинаний. Мощеная дорога неожиданно прерывается рытвиной, садик с кустиками и рядом—пустырь, заваленный строительным хламом, старая черная развалившаяся хибарка и многоэтажный гигант с пустыми еще глазницами окон.

Дом культуры в лесах. Штукатуры копались вчера на третьем его этаже.

У подъезда — афиша. Она гласит:

Сегодня выступает квартет имени Вильома... Квартет играет на музейных инструментах лучших итальянских мастеров XVII века. Первая скрипка Страдивариуса, вторая—Руджиери... Инструменты получены из государственного фонда СССР...

В программе Бетховен, Моцарт, Берлиоз.

Четыре сталевара проходят в первый ряд. Они опускаются в кресла, обтянутые красным бархатом.

Занавес поднимается. Четверо за пюпитрами. Они во фраках, в крахмальных манишках. Галстуки белоснежными бабочками порхают под кадыками. Три скрипки и виолончель коричнево выделяются на манишках.

Добротное дерево инструментов звучало триста с лишним лет. Триста лет оно звучало только в салонах вельмож. Музыканты в расшитых камзолах играли старинные менуэты. По вощенному паркету скользили пары в пудренных париках. Сейчас эту музыку слушают сталевары.

Музыка звенит серебряной паутиной. Сложное кружево звуков колышется над красным бархатом. Мелодия вспыхивает цветными вымпелами. Взвихренные звезды взлетают под темный купол, сыпятся вниз каскадом, сливаются в один стремительный сверкающий поток. Музыка настойчива. Слух улавливает в оркестровых взмахах звучание каждого инструмента. Каждый звучит по-своему, но вместе они дополняют друг друга.

Четыре сталевара внимательно слушают. Они никогда не думали, что простая обыкновенная музыка может доставить наслаждение их грубым ушам, привыкшим к отчаянному заводскому грохоту. Какому бы музыканту в иной стране пришла в голову сумасшедшая мысль для этих ушей играть мелодии на скрипках Страдивариуса?!

Четыре сталевара понимают музыкантов. Они хорошо понимают значение дружной и гармоничной работы. Разве сами они вот так же там, в цехе, у мартена не составляют своеобразный квартет, в котором Правков, владелец автомобиля, играет первую скрипку?..

Николай Иванович молод, ему всего тридцать четыре года. В Лысьву он пришел из деревни десять лет назад. Он поступил в мартеновский цех чернорабочим на сдачу слитков. Через четыре года он сделался генераторщиком, еще через год—подручным, еще через год—сталеваром. Тогда начиналась первая пятилетка. Людей выдвигали смелее. Пятилетке обязан Правков своей квалификацией.

Учил его старик Труханов. Вот он сидит по правую руку Правкова, этот седенький, сутулый, в соломенной шляпе с шелковой лентой. Шляпу он позабыл снять. Он известен всему Уралу, на заводе — почетная личность, оборонял его против белых, восстанавливал после разрухи. Его выучениками полон мартеновский цех, и Николай Иванович один из них. Правков почерпнул от старика умение определять безошибочно на-глазок качество металла в печи, его температуру. Белая кипь, искра в воздухе рвется звездами — хороший металл, «грубой», — вали железной руды, не стесняясь. Красный, малиновый цвет — холодный металл — воздух и нефть гони, поднимай температуру. Темные пятна в ванне — грязный металл, надо раскислять его ферромарганцем. Жидкий шлак—весь фосфор в металле. Шлак густой — фосфора нет...

Правков зазубривал эти приметы, но что за процесс происходит в печи, понимал довольно туманно, как впрочем и сам учитель. Труханов к тому же учился у Разина, еще более древнего сталевара, у Степана Ивановича Разина, этого тезки легендарного бунтаря.

Степан Иванович сидит налево. Косоворотка его расстегнута. Улыбается его вечное красное потное лицо. За время отпуска он поправился на два с половиной кило. Последний из четырех — Лощенов двадцатипятилетний парень в синем шевиотовом костюме, одетом поверх голубой майки. Кимовский значок краснеет на лацкане. Он только что со смены, недавно умывался. Волосы его мокры. Лощенов — ученик Правкова.

Все четверо работают на одной и той же печи № 1. На всесоюзном конкурсе мартенов эта печь заняла первое место. А ведь еще совсем недавно на заводе она считалась худшей. Металла с квадратного метра пода снимали значительно меньше, чем на всех остальных. Качество стали было низкое. Из стали первого номера вальцовали одну лишь посудную жесть на кастрюли. Зато по количеству ям и поджогов печь шла впереди. Сюда назначили работать в наказание тех, кто в чем-либо провинился.

Труханов взялся выправить первый номер.

— Срежешься, Костя, — сказал ему Разин, — несчастливый этот мартен.

Труханов обычно с почтением слушал советы своего учителя. Но Труханов, хоть и старик, представлял собой все же некое новое поколение. Он был лишен тех суеверий, которые для Степана Ивановича играли не малую роль. Разин не расставался с ладанкой. А Труханов носил на сердце членский билет коммуниста.

— Как-нибудь вытянем, Степан Иванович, — отвечал он упрямо Разину. — Может, возьмешься за первую смену? Посоревнуемся, кто обгонит.

Разин взглянул на него насмешливо и неожиданно согласился. До сих пор еще Труханов ни разу не обогнал его.

С аналогичным предложением Труханов обратился и к своему ученику Правкову. Печь № 1 укомплектовали так:

Первую смену ведет Разин, вторую — его ученик Труханов, третью — Правков, ученик Труханова, четвертую—Лощенов, ученик Правкова, бывший его подручный..

Смены вступили друг с другом в соревнование.

Разин обычно начал работу. Он приходил на печь, распоряжался, потом засыпал в сторонке. Бригада завальщиков

Сталевар Правков

Фото Н. Старова

и подручных сама знала. что надо делать. Такую работу Разин считал высшим классом искусства сталеварения.

Безмятежный сон сталевара говорил о его превосходстве. Для этого он и школил свою бригаду.

Труханов действовал несколько поиному. Быстрый, живой, он все время вертелся на завалочной площадке. Спешить была у него привычка старинная. А при ручной завалке недремлющий глаз старшего играет немалую роль.

Чистоту он завел на мартене невиданную в Лысьве. После завалки весь камень, пыль тщательно выметали завальщики. На полу никто не спотыкался, веселее шла работа.

За инструмент стало приятно взяться. Завалочная вилка, валек, трамбовки, заправочная ложка были всегда старательно обскоблены. Смена его все быстрее производила завалку. А скорее завалишь, — быстрее выплавишь. С восьми до трех часов сократил Труханов время плавки.

Разина подстегнуло это. Он насторожился. Он перестал спать.

Тщательно он наблюдал за печью сквозь синее стекло. Он не смог перегнать Труханова по количеству выплавленного металла, но выпуск первого сорта повысил ровно вдвое.

Труханов был слишком нетерпелив. Он спешил. У него нехватало выдержки по нескольку раз наводить и скачивать шлак, а Разин спокойно держал плавку, не выпуская ее, пока не убеждался окончательно, что металл хорош.

Правков приглядывался к работе обоих. Он копировал у Разина выдержку, любовь к чистоте у Труханова. Организатор он был не плохой, умел расставлять и учить людей. И вскоре быстроту завалки довел до четырех с половиной минут вместо шести по плану и пяти по встречному. Но Труханов дал четыре — рекордную цифру, и Николай Иванович понял, что только копируя методы, его обогнать нельзя. В этих методах было необходимо применить нечто новое, более совершенное.

К тому же выводу он пришел, когда попробовал «переплюнуть» Разина. Разин обладал несравненно большим опытом. Глазок патриарха был лучше наметан.

В цехе организовали экспресс-лабораторию. Николай Иванович знал, какую помощь она может оказать сталевару и когда впервые принесла ему лаборантка пробы, он схватился за бумажку с вычислениями, как утопающий за соломинку. Увы, непонятные цифры стояли на этой бумажке.

«Марганца 0,18%».

— Сколько же это 0,18? — не мог он сообразить.

За всю свою жизнь, еще мальчуганом он проучился в школе год. Читать, писать с грехом пополам умел, но арифметику знал паршиво, а десятичные дроби не знал совсем. Он спросил у Труханова. Тот, смутился, от объяснения увильнул, а Разин вообще в аназилы не заглядывал. Понял тогда Правков, на чем он мог обставить своих учителей.

На заводе открыли курсы теоретической подготовки сталеваров. Старики стыдились ходить туда. Разве не были они сталеварами десятки лет? Но Правков не постыдился.

Прежде всего он взялся за дроби. Он понял, что такое «марганца 0.18%». Он научился рассчитывать вес добавок в шихту в зависимости от лабораторных показаний. Первый из Лысьвенских сталеваров, он стал пользоваться экспресс-анализами. Точный расчет шихты сразу повысил качество металла. 70, 72, 75, 76 процентов выплавки первого сорта. Среди его слитков уже не встречалось «голенищ» с раздутыми боками, «бурака» и «цветной капусты» с развороченной газами верхней частью.

Слитки с маркой смены Правкова больше не шли на кастрюльную жесть. Авиация и автопромышленность забирали их целиком. Разина он обогнал.

Весь процесс, происходящий в мартене, стал для него понятен. Он смотрел сквозь синие стекла и видел не только белую кипь и темные пятна, но и то, что скрывается за этими пятнами. Он перестал теряться. Слова, движения его сделались спокойными и неторопливыми. Он смотрел прищуренными глазами. Глубокие морщины около рта придавали его лицу, чуть насмешливое выражение, и неясно было, от жара, гримасничало его лицо или была это просто улыбка превосходства.

Но по количеству выплавленного металла Труханов все еще шел впереди. И всего обиднее казалось, что смена Лощенова, этого комсомольца, неожиданно вышла после Труханова на следующее место.

Правков задумался. Почему?

Секрет успеха смены Лощенова он открыл случайно. Прийдя однажды в цех во время этой смены, он не застал Лощенова у печи. Лощенов отошел на несколько минут на разливочную канаву. В этот момент принесли анализ и подручные Лощенова сами быстро в нем разобрались и принялись заправлять печь. Выяснилось, что всю бригаду Лощенов заставил сдать техминимум, а подручных с собой на курсы таскал.

Правков не сказал ни слова. Он стал действовать точно так же и через месяц он, и Лощенов вдвоем победили Труханова.

Позади, старики плелись недолго. Все те же курсы сталеваров увидели их в своих стенах. Четверо вскоре почти сравнялись.

В жаркой борьбе за первенство четверо не заметили, как Лысьвенский первый номер, некогда самый худший, вышел в Союзе на первое место.

В Лысьвенском доме культуры устроили торжество. Разин получил денежную премию и путевку на курорт, Труханов — корову, Лощенов — радиоприемник, а Николай Иванович Правков — автомашину.

После торжества все четверо собрались у Правкова.

Они вспомнили этот вечер сегодня. В просторной столовой за самоваром они заключили неписаный договор о дружбе. К сдаче смены друг другу ежедневно они готовились как к приезду наркома. Все выметет, выскребет, вычистит сменяемая бригада. Подробно расскажет сменяемый сталевар своему подсменному, как шла печь, чтобы точно согласовать режим, чтобы не было резких переходов. Подробно расскажет сталевар своему подсменному о всех своих ошибках, чтобы исправить полностью эти ошибки. Не стало у людей на первом номере ложного стыда, а неприязненного отношения друг к другу не было. Согласованно, дружно работал квартет на мартене и каждый из них дополнял друг друга.

Сегодня, как всегда, они собрались у Николая Ивановича. Чаю пили много с блюдечек, вприкуску. Дважды раздувала Ксюша, жена Правкова, никкелированный самовар. Разговаривали обстоятельно. Разговаривали все о том же, о Лысьвенском первом мартене. Затем они сели в автомобиль и поехали в Дом культуры.

Их уши ловили в оркестровых взмахах звучание каждого инструмента. Каждый

Семья Правкова

Фото Н. Старова

звучал по-своему, но вместе они дополняли друг друга. Иначе быть не могло. Иначе не было бы гармонии.

Концерт окончился, в фойе четырех сталеваров встретил редактор местной газеты «Искра». «Искра» шефствовала над первым мартеном.

— Ну, как? — спросил редактор. Ему нужно было писать рецензию.

— Они работают хорошо, — ответил за всех Николай Иванович. — Они работают, как на печи.

---

255 500 ТОНН каменного угля добыли 2-го **ОКТЯБРЯ 1934** года шахтеры советской страны. Это обычная дневная добыча СССР. Чтобы вывезти такое количество угля нужно 400 эшелонов из 16000 вагонов.

1930 год
ОКТЯБРЬ
2
ЧЕТВЕРГ

Опубликован список предприятий, досрочно окончивших план 2-го года пятилетки.
Призыв ударников в литературу.
Отъезд в Анкару, гостившего в Москве турецкого министра иностранных дел.
Обращение Средне-Волжской конференции бедноты и батрачества об укреплении колхозов.
Открытие англо-советских переговоров о долгах
Рапорт 42000 бакинских нефтяников о досрочном выполнении пятилетнего плана.
Рекорды по кладке бетона на Днепрострое.

секретарь горкома

Т. Леонтьева

Замок щелкнул, дверь с шумом захлопнулась. Секретарь быстро сбежал по низким ступеням крыльца и сел в машину. Его помощник, молодой человек с лицом круглым и совсем девическим, сказал шоферу простуженным басом:

— На металлургию... За полчаса доедем?

Шофер ничего не ответил и уверенно вывел машину на асфальт.

Сдвинув мягкую шляпу на лоб и подняв воротник пальто, секретарь сосредоточенно молчал.

Машина шла осторожно и бесшумно по широким асфальтированным улицам, мимо бульваров и чистых низких домиков, похожих друг на друга, как красноармейцы в строю.

Стояла осень, прозрачная и желтая, как это бывает только в провинции, в глухих южных городах, где беспорядочно растет клен и орешник на улицах, у домов, мешая прокладке тротуаров и подземных труб.

Становилось холодно, особенно по ночам, и утренние сводки об уборке овощей оставляли у секретаря на весь день плохое настроение.

Сегодня, в семь часов вечера была назначена его чистка. Он считал, что нужно как-то подготовиться, что-то вычислить, записать, обдумать. Но уже с утра он не мог ни на минуту остаться один и выключить себя из привычного ритма рабочего дня.

Сейчас он ехал на завод на цеховое партийное собрание, где без него никак не могли обойтись.

Он старался думать о том, что будет вечером, что он скажет, как начнет рассказывать о себе, но какие-то другие мысли мешали ему и почему-то все время вспоминалась телеграмма крайкома из последней почты:

«Связи реорганизацией категорически воспрещается перемещение профработников без согласия крайсовпрофа».

На одном из поворотов помощник схватил его за рукав:

— Степан Кириллыч, вы заметили ворота, оказывается, сносят.

— Какие ворота? — спросил он, не поняв сразу.

— Петровские ворота.

— Как сносят? Не может быть. Поверните машину.

Ворота, действительно, сносили. Два высоких столба с золоченными шарами на острых шпилях, стоявшие у въезда в город, были исторической достопримечательностью. Говорили, что столбы эти выстроены еще при Петре в ознаменование его приезда.

Один из шаров лежал сейчас на земле и трое рабочих, взобравшись по пожарной лестнице к самой вершине, разбивали кирпичи, прочно пригнанные и цементированные временем.

— Бригадир... где бригадир!.. — закричал секретарь.

Но его уже заметили и уже шли к нему, спотыкаясь о камни, прораб и его помощник с вытянувшимися лицами, как школьники, пойманные в чужом саду.

— Степан Кириллыч, что такое?

— Степан Кириллыч, это Маньков распорядился.

— Немедленно прекратите работу. Тысячу раз говорилось. Это чорт знает что.

— Да шар-то увезите! Шар!—крикнул он вслед помощнику прораба, побежавшему к рабочим.

— А то украдут, — сказал он, уже улыбнувшись.

И вынув блок-нот и ручку, он записал: «Ворота с Маньковым».

— Степан Кириллыч, — сказал помощник растерянно, — ведь письменного распоряжения не было. Очевидно Маньков...

Секретарь хмуро перебил его.

— Я не понимаю этого, Вася, — сказал он, вытирая пенснэ. — Вы помните памятник работы Трубецкого.. Его оценивали в 45 000 золотом. Тоже отдали на слом. Ну что это такое?..

Секретарь вздохнул, надел пенснэ и посмотрел на своего помощника уже совсем недоверчиво.

— Сейчас мы имеет время обдумать и рассчитать, что именно из памятников старины может нам пригодиться. А Маньков всегда делает глупости. Боже мой, какой это тяжелый человек!

Помощник молча слушал, наклонив голову.

Подъезжали к заводу, пересекая молодой плодовый сад городка ИТР. Увядшая аллея шла почти над морем. Был виден мостик водной станции и красная крыша Делового клуба. Высокое южное небо было совершенно синим.

Год назад место именовалось Лестниковой сопкой. Когда-то в пьяной драке здесь убили рабочего Лестникова. Теперь сопка была застроена, засажена, обжита.

Степан Кириллович сам рассматривает планы, проекты, сметы этого городка. Несмотря на дискуссии и возражения, городок был построен. И вот теперь было видно, что секретарь оказался прав.

Машина подошла к заводу. Секретарь соскочил с подножки. Невысокий и круглоплечий, он выглядел очень неуклюжим в своем тяжелом пальто. Узнав его, часовой взял под козырек.

Секретарь был еще очень молод. В 1917 году ему было всего шестнадцать лет. Говорили, что он вообще слишком зелен, самоуверен и не умеет уживаться с людьми. Но это было не совсем правильно. За несколько лет партийной работы он создал возле себя дружный и такой же молодой коллектив. Этот коллектив понимал его без слов, приказов и резолюций. В той бурной преобразовательной работе, которую секретарь вел здесь, в провинциальном промышленном городке — это было, пожалуй, главным условием успеха.

Говорил секретарь очень тихо. На больших собраниях задние ряды слышали его плохо. Ораторские приемы были ему, очевидно, совершенно неизвестны. Но во всей его маленькой фигуре, скупых осторожных жестах, в тихом уверенном баске была решительность, непреклонность, упрямая жесткость.

Система его работы была непонятна многим. И то, что он днем уходит домой обедать, выключает телефон и обязательно ложится спать, хотя бы на полчаса,— вызывало недоумение и усмешку. Этот размеренный шаг жизни казался каким-то равнодушием к делу революции. В этом секретарю всегда противопоставляли Манькова — председателя Горсовета.

Вокруг Манькова группировались земляки и партизаны, не утратившие большого революционного огня, пылкие ораторы и преданные большевики.

---

32 МИЛЛИОНА блюд готовится ЕЖЕДНЕВНО фабриками общественного питания СССР

А Степан Кириллович был новичком. И то, что он не мог ужиться с этими людьми — ставилось ему в минус.

Степан Кириллович и старик Маньков стоили друг друга, но были людьми двух разных измерений и тут уже ничего нельзя было поделать.

Им было трудно работать вместе. Это все понимали и особенно это стало ясно, когда на чистке Манькова выступил Степан Кириллович и припомнил все. Театр, который Маньков пытался закрыть. Памятник работы Трубецкого, вырубленные деревья.

После чистки Маньков явился в кабинет к секретарю и сказал:

— Я больше работать не буду. Не могу. Сдаюсь. Я стал стар, а может и не учен. Переучиваться поздно, да и с тобой у нас все равно ничего не выйдет.

— Ты с ума сошел, — спокойно ответил секретарь.

— Не думаю, но работать не буду.

Секретарь встал и сказал просто и холодно:

— Ну что ж, исключим из партии.

— Исключайте, я сам отдам билет. Вот он, — Маньков положил партийный билет на стол.

— Я с семнадцатого года в партии. — прибавил Маньков, — может быть из сожаленья, а может быть подчеркивая, что секретарь моложе его.

— Нет, подожди, — сказал ему секретарь.

— Вася! — позвал он помощника. — Отправьте Манькова сейчас же на Беглецкую косу. Немедленно и без разговоров. Билет возьмите. Отдайте ему билет. Пусть сидит и думает, а потом поговорим.

Обойдя Манькова, секретарь вышел из кабинета, хлопнул дверью. Помощник побежал было за ним, но он только махнул ему рукой с лестницы.

— Так как же быть, Иван Петрович? — спросил помощник, вернувшись, — поедете в дом отдыха?

На Беглецкой косе помещался дом отдыха партийного актива. Там было тихо, скучно и хорошо кормили.

Маньков подумал и покусал желтые усы.

— Поеду. — сказал он, — чего уж там. Поеду. Посижу на губе. Вызывай машину.

И Маньков действительно уехал.

Сегодня к чистке секретаря, Маньков, очевидно, вернулся с Беглецкой косы и будет выступать зло и по-своему справедливо. Уже говорили, что Маньков готовится к выступлению, подбирая обиды и столкновения.

Но не об этом секретарь думал теперь. Он все пытался что-то вспомнить. И несколько раз ему представлялся отец, идущий по знакомой тропинке из тюрьмы домой. Отец был школьный учитель, социал-демократ. По этой тропинке далеко за городом сын ходил к отцу на свидание и возвращался с отцом домой. Но ничего больше он вспомнить не успел. В цеху его уже ждали.

Цеховое партийное собрание, как предполагали, должно было распутать ту сложную завязь внутренних отношений, которая недавно сложилась и мешала делу.

Цех, когда-то краснознаменный, не давал теперь программы и всему виной был новый начальник цеха. Он был из молодых, выдвинутых в начальство. Повел он себя сразу так круто, что растерял старых друзей и не смог сладить с коллективом.

Когда секретарь пришел в цех, прения уже шли полным ходом.

Ванька, конечно, был причиной всех зол. Власть портит человека. Дома он снял со стены отцовскую картину «Отелло рассказывает о своих подвигах» и выбросил в кладовую банки с геранью.

— Культура у тебя не выше уровня стола, — сказал он как-то жене, — дело не только в чистой скатерти.

Мастерам на работе он начал «выкать» и вызвав к себе дядю Власа, старейшего мастера, долго распекал его, правда в

очень вежливой форме, за густую щетину и разорванные сапоги. Как-будто дядя Влас был не на заводе, а в детском саду.

Дядя Влас выругался очень круто и в сердцах назвал его оголтелым подхалимом. Но назавтра, получив строгий выговор, смяк, побрился и починил сапоги.

Новый начальник требовал, чтобы его называли по имени, отчеству, давал непосильные нормы, и вот по его вине в цехе теперь прорыв. При прошлом начальнике белых воротничков не носили, а программу давали.

Собрание тянулось долго. Нужно было дать всем выговориться.

Секретарь выступил последним.

В стенной газете писали потом, что секретарь горкома призвал всех включиться в выполнение и перевыполнение промфинплана и бороться за построение бесклассового социалистического общества. Но это было не совсем точно. Сказал он, примерно следующее:

— Товарищи! Мы хотим иметь лучшую в мире промышленность и лучшее аграрное устройство страны. Мы хотим иметь лучшие дома, сады, виллы. Лучшие в мире. И мы создаем эту лучшую промышленность, сельское хозяйство, дома и виллы. Но мы создаем эту жизнь не рядом с собой, а выше себя. Она лучше, красивее, гармоничнее, культурнее, чем мы сами.

Из старых кирпичей можно построить новое здание. Многие уже прошли через это. Все здесь большевики, ударники, революционеры так же, как и старый дядя Влас...

Однако, построить новый дом из старых кирпичей — это еще не все. Нужно стереть следы прежней штукатурки и внести новую обстановку в дом.

— И выбросить старый хлам из чердака! — крикнул кто-то с места.

— Правильно! Только это будет уже не старый чердак, а верхний этаж, наиболее светлый. Умственная лаборатория, так сказать.

Тут речь секретаря была прервана смехом и аплодисментами.

— Сейчас, товарищи,—продолжал секретарь, — происходит этот процесс облицовки... Строить, по лесам лазить, гвозди приколачивать может и сезонник, неграмотный и не очень культурный. Все мы в первый период революции были такими. Но теперь страна построена и нельзя уже оставаться сезонниками. Прав Иван Парамонович, неряшливо одетые люди не могут культурно работать. Прав Иван Парамонович, без дисциплины ничего не выйдет — это надо понять. И еще вот что. Приходите вы на работу, и наверняка прежде чем о деле подумать — говорите: «А почему это Ванька начальником цеха сидит, а не я. Ведь и я не хуже его».

— Никто этого не говорит, — проворчал один из лучших мастеров, кругленький и лысый токарь Степура.

— Врешь, Яков, — перебили его сразу два голоса.

— Правильно, товарищи. Большинство из вас не хуже его. И все вы, очевидно, будете начальниками цехов. Знаете, ведь, сколько новых заводов строим. А пока надо только потерпеть, да поучиться.

Собрание кончилось поздно и секретарь горкома уже под вечер вернулся к себе.

Было очень обидно, что день прошел, а он так и не знал еще, как ему выступать на чистке.

В кабинете на столе лежала новая почта. Ее нужно было немедленно просмотреть. Спеша он перелистал документы и бланки, со знакомыми штампами и подписями.

Ничего срочного не было.

Выписки из протокола бюро крайкома о состоянии хранения хлеба, о проведении краевой спартакиады, основные показатели выполнения народнохозяйственного плана. План путины. Кассплан горбанка. Снова протоколы, выписки и проекты резолюций для подписи.

А в самом конце два личных письма. Он распечатал письмо, начал читать и уже не мог не дочитать до конца.

«Тов. Вардин! Случилось то, чего я больше всего боялась. Вы покидаете нас. Не знаю, правда это или нет, так как мне это известие сообщил беспартийный. но мне сегодня сказали, что Вас посылают полпредом в Испанию. Это горестно меня изумило. Чувства раздвоились. Я радуюсь и горжусь за вас, и печалюсь тому, что мы вас лишаемся. Сегодня вас будут чистить и я уверена, что эта чистка новый триумф для вас. Не подумайте, что я льщу вам. Нет, я скромная беспартийная домашняя хозяйка, жена беспартийного инженера. Вы меня не знаете и сегодня я пишу вам только под влиянием охвативших меня чувств. Не только я одна горюю по поводу вашего перевода. У меня нет знакомых членов партии и я не знаю, какое настроение царит среди них в связи с вашим уходом. Здесь я говорю только о беспартийных, не соприкасающихся с вами и наблюдающих вашу деятельность со стороны, издали, как и я...

Ведь только Вы дали нашему городу жизнь и привили ему культуру. Сколько благих и огромных начинаний начато и закончено при вас. Асфальт и трамвай, зеленые улицы, цветы и новые бульвары, и забота о детях, и рост наших заводов...

Подписи под письмом не было. Письмо было так же наивно, как и остальные девять писем, полученные секретарем в эти дни и связанные с забавным слухом об отъезде в Испанию.

Дочитать письма так и не удалось. В кабинет вбежал помощник.

— Степан Кириллыч! Вы же опаздываете. Все собрались, а вас нет. Ведь не в театре.

— Да, да... я сейчас,— сказал секретарь, уже с отчаянием в голосе,— но как же быть, что я скажу. Ведь я совершенно не готов. Мне будут задавать вопросы. У меня ни одной цифры на руках нет.

— Это ничего, Степан Кириллыч. Лева уже подобрал все цифры и ждет вас в клубе.

Острое волнение и растерянность, несвойственная и непонятная, охватила секретаря.

У клуба стояли люди со знаменами, у всех были праздничные и немножко взволнованные лица. Играл оркестр. Секретарь вслушался,— играли румбу. Это было очень смешно. Но он не рассмеялся. Лихорадочно перебирал он в памяти отрывки прожитой жизни.

Начало снова представлялось так. Узенькая тропинка, по которой они идут рядом с отцом. Отец возвращается из тюрьмы и очень весел. Но вспомнить еще что-нибудь он не успел. И сердце его мучительно сжалось, когда он шагнул к освещенной рампе.

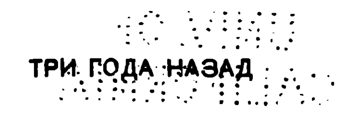
В это время зал вздохнул, как бы втянув в себя воздух. И ливень аплодисментов заставил его отступить назад.

Откуда-то сбоку, из-за кулис, показалась смущенная и улыбающаяся широкоплечая фигура в защитном френче с двумя орденами Красного знамени. Зал стих от неожиданности, узнав Манькова. Вытянув руку, чтобы окончательно успокоить зал, Маньков сказал не громко, но отчетливо:

— Да здравствует лучший большевик и руководитель нашей партийной организации товарищ Степан Вардин!..

И все снова закричали, зашумели и зааплодировали, не давая секретарю произнести те первые слова, которые он так и не успел придумать.

ЕЖЕДНЕВНО в нашей стране становятся ударниками 3 235 рабочих и инженеров



1931 год
ОКТЯБРЬ
2
ПЯТНИЦА

2-й день пуска автозавода им. Сталина и Харьковского тракторного завода.
Татреспублика первой выполнила план зяблевой вспашки.
Прием японского посла Литвиновым.
Отправление из Ленинграда первого эшелона с оборудованием для Нижегородского автозавода.
Первый разогрев мартеновских печей на Уралмаше.
Доклад инж. Роттерта на пленуме трамвайной секции Моссовета о постройке метро.

Деловой человек

И. Айсберг

Рис. В. Тарасовой

Утро делового человека

В полудремоте Шура потянул носом: ноздри защекотал острый запах заваренного кофе. Глаз Шура все-таки не открыл и, свернувшись клубочком, несколько минут силился вспомнить последний сон. Ничего не получилось, ночные видения неуловимо ускользали, вспугнутые шорохами дня.

По комнате уже пришлепывали мамины туфли, и ухо ловило привычные звуки: бульканье кипящей воды, звонкое подрагивание посуды на столе и быстрый шопоток сестер. Шура плотно закрыл глаза. Заснуть, однако, не удалось: стенные часы с шипением и присвистом выбили один удар. И почти одновременно шершавая мамина рука легла на лоб.

— Шур, а Шур...

В умывальной, пофыркивая под холодной струей, он сразу, с необычайной отчетливостью вспомнил диковинный предутренний сон. Вот скачет Шура на взмыленном похрапывающем коне, а за ним, высекая под копытами огонь, мчится сотня всадников, одетых в римские тоги. Дорога, замкнутая горами, суживается, переходит в змеящуюся тропинку и обрывается у крутизны. Внизу прыгает по камням ворчливая речонка. Шум ее нарастает, ему гулко вторит эхо гор. Он надвигается ближе, еще ближе, и вот просовывается из кустарников с воем оскаленная волчья пасть. «Товарищи, вперед» — это кричит уже не Шура, а Чапаев. «Вперед» — повторяет появившись откуда-то Лиза Борецкая, потрясая рейсфедером. И вся сотня, спешившись, хором начинает спрягать: «Ich gehe, du gehst, er geht». Волчья пасть, перевоплотившись в учителя немецкого языка, почему-то приплясывающего на тонких ножках, машет руками и вопит: «Wiederholen». Он начинает пятиться назад, а на него наступают разгоряченные кони и теперь уже они, а не всадники, хрипло выкрикивают: «Wir gehen, ihr gehet, sie gehen»...

Минутная стрелка неумолимо подтягивается вверх. Обжигаясь горячим кофе, Шура торопливо засовывает в сумку книги.

В белесом уличном тумане медленно догорает ночь и фонари еще поблескивают в лужицах, скованных утренним холодком. Каруселью огней встают четыре яруса «Парижской коммуны». Как в воронку, стекаются к фабричным воротам торопливые людские потоки. С непогрешимой точностью привык Шура угадывать время по едва уловимым штрихам просыпающейся улицы. Вот проковылял хромой в широкополой шляпе. Обычно он попадался навстречу у самого дома — значит, уже поздно. Сквозь щели закрытого киоска пробивается свет — значит, близко к восьми. Он ускоряет шаг, потом мчится рысью по раздетому осеннему скверу и на последнем повороте с размаху наскакивает на старушонку, за-

Фото Г. Грачева

Фото М. Прехнера

купоренную в полушубок и необъятные шали.

— Озорник, фулиган, тьфу, прости господи! — старушка долго ворчит ему вслед, а Шура уже несется по двору. На ходу растегивая пальтишко, он сует его в узкое оконце раздевалки и, как лист, подхваченный водоворотом, уносится вверх по лестнице. Раздраженно дребезжат звонки по этажам, у классных дверей выстраиваются «линейки» и тысячеголосый оркестр, укрощенный невидимой палочкой, постепенно стихает.

День начался.

Леня Глан и другие

Уроки истории таили для Шуры двойной соблазн. Они воспринимались, как главы из биографии человечества, и Шура жадно листал пожелтевшие страницы прошлого. «А почему илоты не объединялись, чтобы свергнуть спартиатов?»; «а что бы мне сделали, если бы я сказал, что не верю в их богов?» Это была критическая позиция тринадцатилетнего современника. Но тринадцатилетним ребенком жизнь древних — причудливая, живописная, своеобразно-героическая, — прочитывалась, как увлекательный фантастический роман. И тогда разгоряченное детское воображение подсказывало целый ворох других вопросов: «Как бы я поступил на месте Одиссея у Троянских ворот»? Или: «а что, если бы львы выпрытнули из цирка и побежали по улицам Рима?»

И сегодня, слушая рассказ о гибели Помпеи, Шура перегнулся через парту, чтобы слова не пропустить. Когда Николай Григорьевич кончил, он старательно записал на бумажке: 1934 — 79. И тут же вспомнил: несколько дней назад какая-то газета сообщала, что в Неаполитанском музее хранится морской гад трех тысяч лет от роду. Три тысячи лет! Лава затопляла Помпею, а гад уже трепыхался где-то в замшелой воде! Вот бы ему, Шуре, прожить столько...

Из раздумий вывел звонок. Позабыв о Помпее, Шура бросился через парту к Борецкой: «материал принесла?» Вместо ответа, Лиза вытащила из сумки листок. «Ладно, прочту» — буркнул и тут же споткнулся о подставленную ногу. Уже он пригнулся, чтобы расправиться с виновником, но чья-то рука уверенно легла на плечо. «Погоди, дело есть» — и Леня Глан неторопливо, но решительно увлек его за собой.

Когда Леня говорил: «есть дело», лица становились серьезными. Тридцать шесть ребят в классе знали, что Леня слов на ветер не бросает, что этот мальчик с горячими, влажными глазами в рамке пушистых ресниц умеет взвешивать каждое принятое решение. А главное: знали, что для Лени собственные интересы неотделимы от жизни класса, его успехов.

Пробираясь по коридору в толпе, Глан остановился у цветной диаграммы:

— Гляди, полюбуйся.

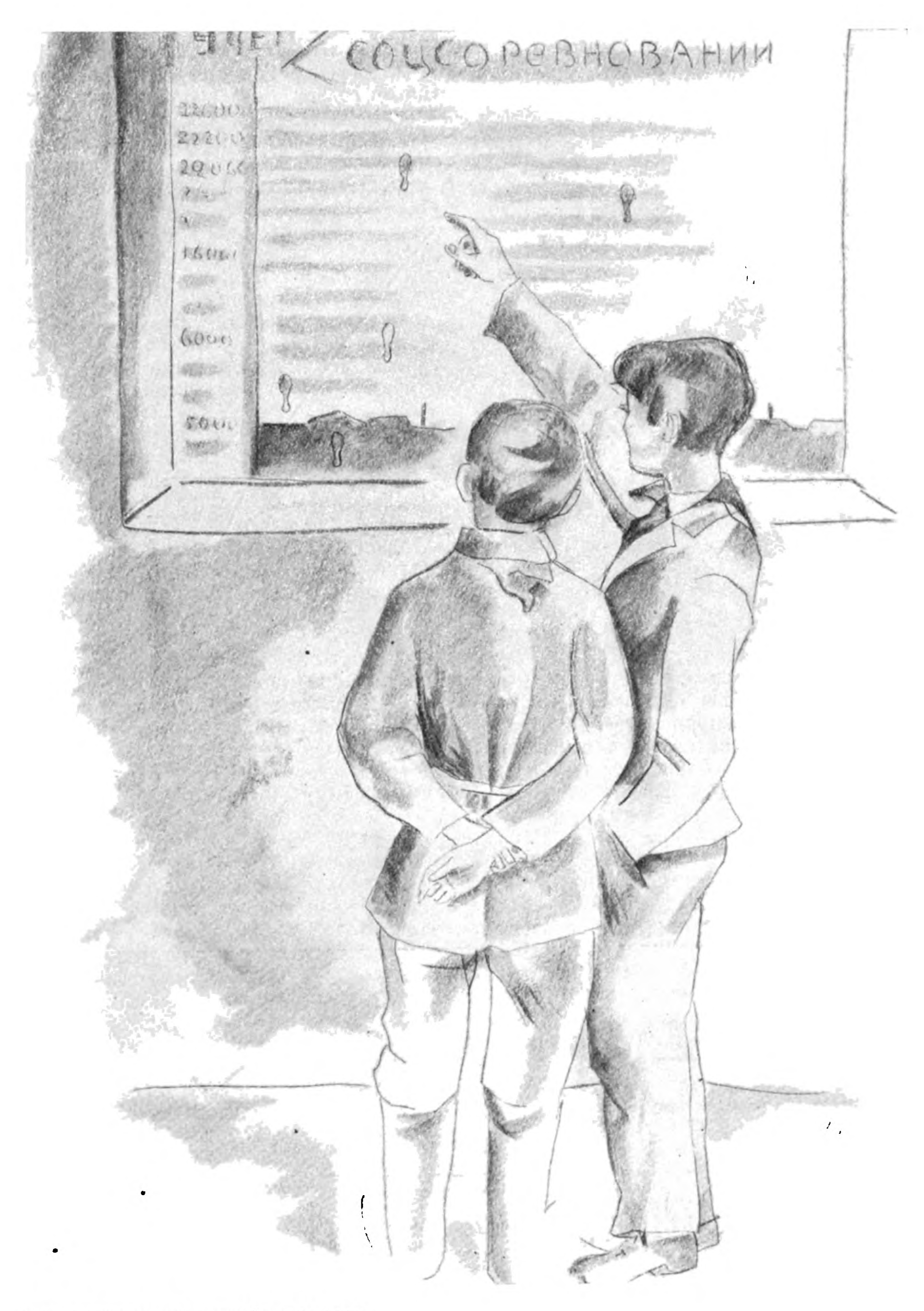
Черным силуэтом лежали на плакате крыши домов. Над ними, казалось, подрагивали серебристые стратостаты, готовые взвиться к небу. Горизонтальные деления определяли высоту подъема, вертикальные — участников полета.

— Гляди, — повторил он, — восьмой «бе» уже на шести тысячах метров, седьмой нас обогнал, а мы позорно висим над самой крышей.

— Но кто же виноват, кто? — тихо спросил Шура.

— Вот об этом и поговорим по душам. Сегодня же соберем групповой комитет.

В дверях Шура столкнулся с входившей Ниной Александровной. Класс рассаживался шумно и нехотя — черчение не любили и на уроках мир удавалось поддерживать с трудом. Началось, это, в сущности, с пустяков. Когда, придя впервые, учительница обратилась к классу с обращением «ребятки», за партами насторожились. Повторное «ребятки» вызвало уже враждебные смешки. В шестом, «взрослом» классе снисходительное сюсюканье про-



Глан остановился у цветной диаграммы:
— Гляди, полюбуйся!

звучало оскорбительным вызовом! «На войне, как на войне» — и в воздухе зажужжали бумажные голуби.

— Как мы строим прямой угол?

Девочка с раскосыми глазами, переминаясь у доски, быстро затараторила:

— Нужно взять воображаемую линию...

— Потом?

— Провести воображаемую дугу...

Она сразу осеклась, кроша в руках мел. Нина Александровна беспомощно оглядела класс:

— Кто может сказать?

Класс тяжело молчал. У оконного стекла назойливо билась запоздалая муха. Шуре стало скучно. Он приподнял парту и развернул бумажку, полученную от Лизы:

> «Прошел месяц, как мы уже начали учиться. Я хочу сказать о работе своей за это время очень в кратком содержании. В начале занятий дисциплина была удовлетворительная, в дальнейшем же класс стал хуже вести себя на уроках. Классный совет совсем не работал. Конечно, я в этом виновата, но мне казалось, что интересно работать в классе, когда классный совет сплоченный и все вместе ведут работу, а не одна. Не так давно был отчет нашей работы на учкоме и, конечно, работу признали плохой (на полях Шура отметил: «об этом надо подробнее»). Этот день сильно повлиял на класс и теперь все дружно взялись. Свою работу я считаю плохой и в будущем исправлю ошибки.

Послюнявив карандаш, Шура в конце дописал: «В чем заключаются твои обязательства? То есть налаживание дисциплины, борьба со срывом уроков и другие подобные вещи. Чтобы класс о них знал». Затем подумав, прибавил: «Ответредактор А. Туляков».

На перемене Шура забежал в библиотеку. У самого порога ее бился прибой голосов, но здесь было тихо. Люди у широких прилавков передвигались беззвучно, говорили вполголоса, точно боясь вспугнуть безмолвие книг. Двадцать тысяч томов — черных, серых, синих, красных, закованных в кожаную броню и беспомощно разметавших обнаженные, растрепанные листы—поглядывали сверху, готовые ринуться с полок по первому зову. И всякий раз, когда Шура уходил отсюда, унося в руках одну отобранную книгу, ему казалось, что тысячи оставшихся кивают вслед с укоризной.

Группа старшеклассников сколотила недавно рецензентский кружок, дающий критические отзывы о всех литературных новинках.

Шура в кружке не состоял. Но самая затея успела перерасти кружковые рамки, отзывы уже пачками шли самотеком, и поэтому Туляков так уверенно протянул смятую бумажку.

— О «Колхиде»...

Библиотекарша вслух выхватила несколько строк:

> «Габунья был прав, когда расплавил бюст Ленина, потому что он делал это для спасения населения. Лапшин — песемпотичная личность, завистливый и самолюбивый...»

Улыбнувшись, она поправила ошибки.

— Ты в каком классе?

Шура ответил, не глядя. Потом осторожно обернулся — кажется никто не видел?—и, отходя, уже совсем невпопад прибавил:

— А я вчера смотрел «Восстание рыбаков»...

...Два часа математики, как всегда, пробежали незаметно. Он любил, стоя у доски, командовать расстроенными шеренгами цифр. Чем-то напоминало это забытые детские фокусы: послушные магическим заклинаниям, единицы и двойки рассаживаются по местам — тогда игра кончается.

$\sqrt{2209}$

Зина Машина — коренастая девочка с ленивыми глазами и крутым оскалом зубов — вяло озирается и мнет мел. «Четыре» — шипит на первой парте чья-то юркая фигурка. Два десятка рук колышатся в воздухе, как бумажные змеи, раскачиваемые ветром. «Четыре» — уже звонко выпаливает кто-то сзади, и Зина воздвигает на доске неуклюжую четверку. Затем, склонив голову на бок, ее же подписывает под двумя первыми цифрами. Класс шумно негодует, томится безудержным рвением, торопясь расплескать чашу познаний. И вдруг позади Шуры раздается резкий хруст. Он оборачивается: Катя Туманова нервно ло-

На перемене Шура забежал в библиотеку...

мает пальцы. Лицо у нее страдальческое, губы обиженно поджаты.

— Что с тобой?

— Оставь...—Обхватив руками голову, она прикрывает глаза.

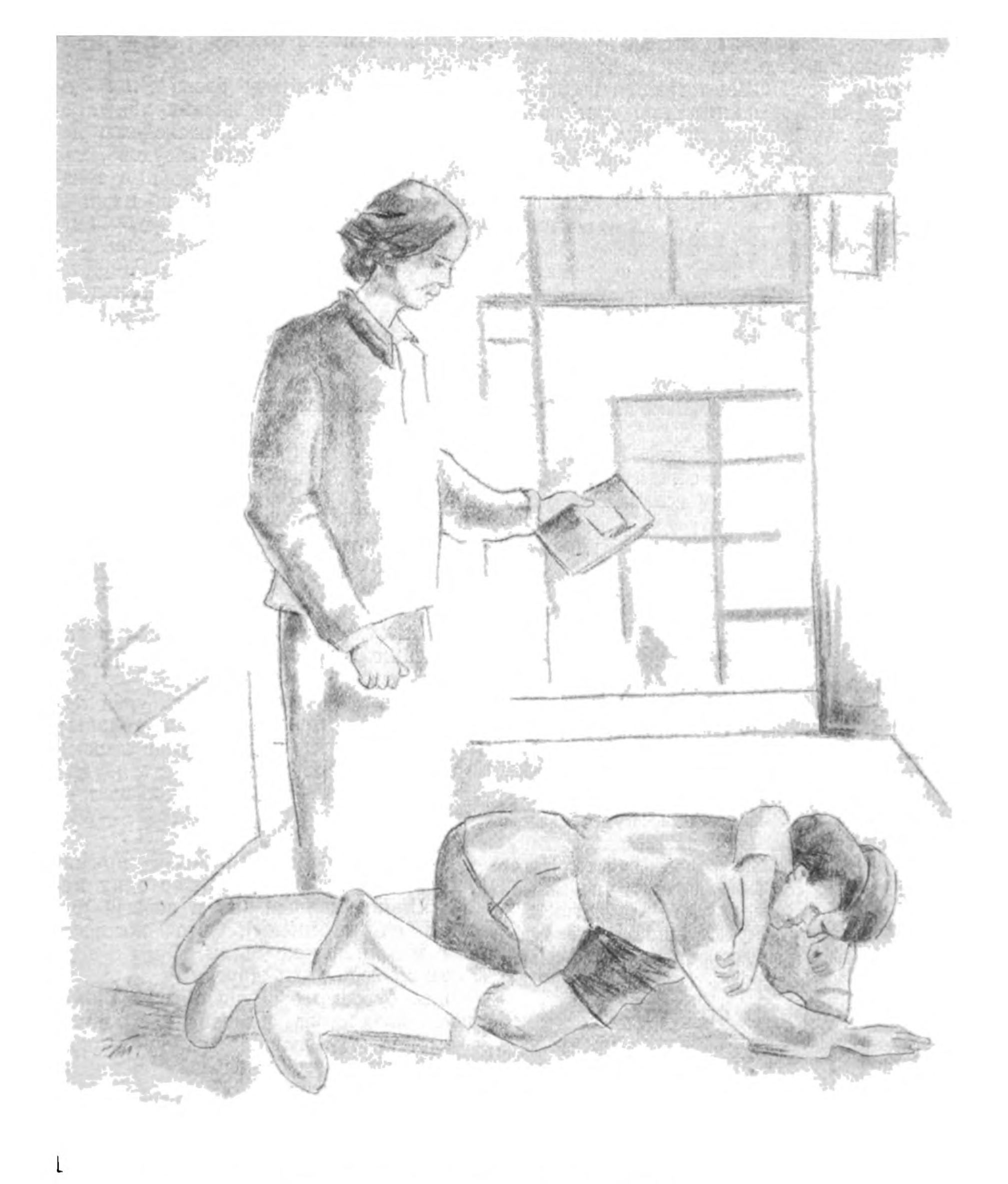
Странная девочка! На уроках сидит не шелохнувшись, и даже в переменах редко шалит. Вначале ее поддразнивали — «тихоня», — она отмалчивалась. Но когда в прошлом году, на одном из уроков физики, учитель прикрикнул на непонятливую подругу, Катя поднялась с места:

— Зачем же вы кричите? Она не понимает, ей объяснить надо, а не кричать.

Сказала она это спокойно, не повышая голоса, но так твердо и безапелляционно, что учитель сконфуженно смолк, а класс удивленно переглянулся. Безуспешно пытались втянуть Катю в общественную работу: «не пойду, не умею» — отнекивалась она. Но когда речь зашла о помощи отстающим, Туманова вызвалась первой и целыми вечерами просиживала со своими подопечными, помогая им заштопать все прорехи.

«Да ведь Машина ее подшефная, — сразу вспомнил Шура. — теперь понят-

784 рабочих рационализаторских предложений и изобретений ЕЖЕДНЕВНО поступает на фабриках, заводах и рудниках нашей страны



— Туляков, ответредактор! — неожиданно звучит насмешливый голос...

но». Он еще раз повернулся. Катя сидела, попрежнему крепко сжимая виски. Когда раздался звонок, она стремительно подбежала к учителю: «Ну как?» И Шура заметил — Машина, весь урок равнодушно топтавшаяся у доски, впервые дрогнула и покраснела, встретив горячий Катин взгляд.

Пообедав, Шура вспоминает о наказе — выборы ведь на носу! Присев в угол, он разворачивает тетрадку, посасывает карандаш и напряженно трет лоб. Хлоп! По лбу шлепает бумажка, пущенная сбоку чьей-то умелой рукой. Вскочив, он секунду ищет глазами обидчика, потом устремляется за ним по коридору. Еще минута — и оба барахтаются на полу. Две пары ног извиваются, как щупальцы спрута. Тетрадка с наказом, заткнутая за шурин пояс, распластывается на паркете.

— Туляков, ответредактор! — неожиданно звучит насмешливый голос Татьяны Георгиевны, и противники смущенно отряхиваются, как всклокоченные петухи.

На уроке немецкого языка Шура собирается снова извлечь заветную тетрадку, но в ту же минуту вскакивает, услышав свою фамилию.

— Проспрягаем, Туляков, глагол gehen. Как будет настоящее время?

— Ich gehe — уверенно начинает Шура и с непостижимой отчетливостью вспоминает утренний сон. — Ich gehe, du gehst, — продолжает он, стараясь сосредоточиться, но сон назойливо стелется в глазах. Он видит перед собой пляшущую фигурку Бориса Михайловича, и уже хрипящие лошадки продолжают за него «wirgehen». Сводимый судорогами неудержимого смеха, Шура замолчал и плюхнулся на место. Не глядя, чувствовал он на себе взгляды Глана, Лизы, Кати. «Это сон, проклятый сон» — шепнул он ей. Она недоумевающе передернула плечом. «Глупо, как глупо» — продолжал он думать, все еще уткнувшись в парту.

День казался невозвратно испорченным.

Разговор по душам

Председательского звоночка на столе не было. Его заменял карандаш, которым Леня Глан деловито постукивал, ровно в два часа открыв заседание классного комитета.

— Все налицо? А вызванные тут?

— Здесь, — жалобно отозвался Гаврилов, краснощекий мальчуган с вздернутым носом и непокорным пучком волос на макушке — здесь я, а зачем и сам не знаю...

— Погоди, о тебе речь еще будет. Сегодня в повестке три вопроса: о дисциплине, о наказе в совет и разные. Принимается?

По первому вопросу слово взял сам Леня. Он сказал, что дисциплина продолжает хромать, что за последнюю неделю класс получил пять «неудов», что общую оценку снижают отдельные товарищи — дезорганизаторы, что по их вине класс повис, зацепившись за трубу, вместо того, чтобы реять в поднебесьи.

— Пока мы вызвали одного Гаврилова. У него семь замечаний на неделе. На уроках разговаривает, стреляет из резинки. Я не против резинки (здесь это прозвучало: «я не аскет»!), резинка развивает меткость, но нельзя же этим в классе заниматься. Словом, нужно принять меры, а пока дадим слово Гаврилову. Пусть сам скажет, какого наказания он заслуживает.

Обвиняемый долго молчал, теребя непокорный клок. Подхлестываемый понуканиями, он, наконец, с трудом выдавил:

— Так пусть меня пересадят.

— Куда ж тебя пересадить?

— Я хочу к Глану.

Кто знает, может быть это был метко рассчитанный маневр? И Глан продолжал суровый допрос:

— Тогда ты обещаешь вести себя хорошо? (Утвердительный кивок головы). Не нарушать дисциплины? (Еще кивок). Не опаздывать? И ликвидировать неуды?

— Да он уже два раза обещал, — сразмаху кинулась Борецкая, — обещал, а сам все такой же!

— Мы подождем еще неделю,—примирительно сказал Леня,—только одну неделю. Помни, Володя (он в первый раз назвал его по имени), что позорить класс мы никому не дадим. И мы знаем, что ты можешь быть другим.

Когда бурый от смущения Гаврилов вышел из-за стола, перешли к наказу.

— Какие требования мы предъявим новому райсовету? — спросил Леня. И тут же сам ответил:

— Учебники по истории — раз. Это обязательно.

— Прибавить тетрадей и бумаги для стенгазет, — вставил за ним Шура.

— Отменить талоны в столовую.

— Ввести для девочек шитье...

— Вместо столярных работ...

— Нет, пусть и столярные остаются.

— Не хотим черчения...

— И рисования тоже.

— Заменить их литературой...
— Чтобы больше билетов в театры.
— И чтобы летом всех в лагеря...

Секретарь изнемогал над протоколом, от усердия высунув наружу изогнутый кончик языка. Леня внимательно слушал. Потом деловито подытожил бурные прения:

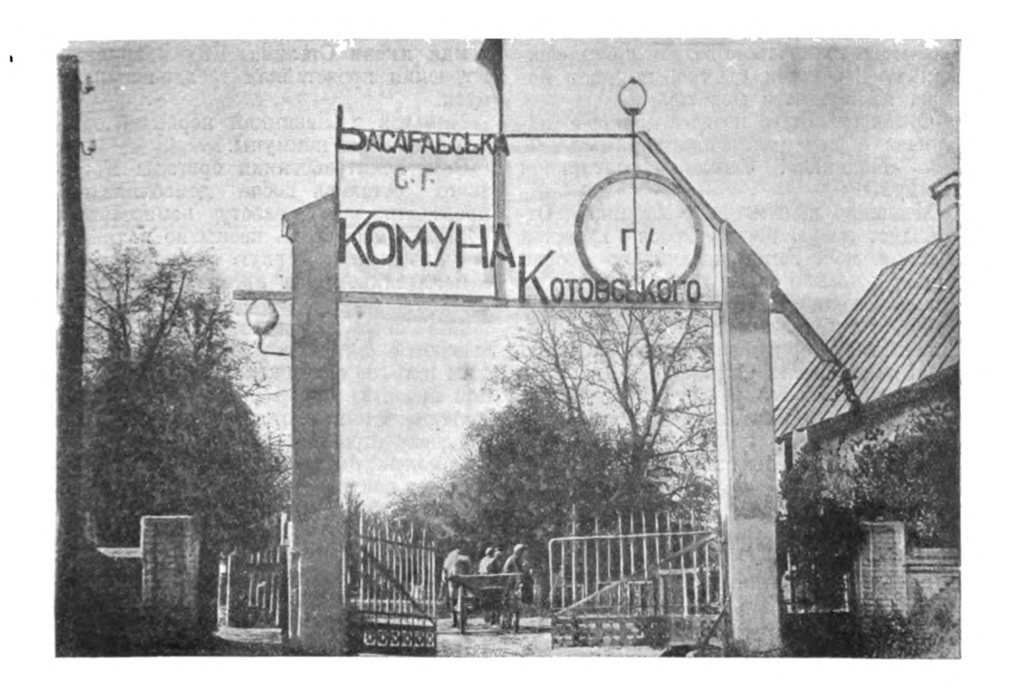
— Тетради включим. И насчет шитья для девочек. О билетах запишем. Столовые дела на-днях урегулируем сами, в учкоме уже поднят вопрос. С черчением — тут загиб. Спрашивается, нужно нам уметь прямой угол начертить? Нужно. А что на уроках скучно, это правда.

Растет население городов Советского Союза. ЕЖЕДНЕВНО становятся горожанами в нашей стране 8 200 ЧЕЛОВЕК.

Поговорить надо с учительницей, чтобы по-другому занималась с нами. И еще мое предложение: сказать райсовету, что шестой класс на трубе не долго будет отсиживаться.

Ему никто не рукоплещет. Гурьбой высыпают в раздевалку. Там, натягивая пальтишко, Шура по привычке прикидывает в уме итог школьного дня. Он хмурится, что-то бормочет про себя и, наконец, решает:

— День, как день!



КОММУНА КОТОВСКОГО

Влад. Шмерлинг

Редактор многотиражки Иртюга дежурит в местечке у телеграфа.

Иртюга записывает слова т. Якира комвойск Украины, предЦИКа АМССР Вороновича, Сычова — председателя колхоза на Дальнем Востоке, Эйдемана — председателя Осоавиахима СССР, и коммунарки Ольги Иванюк, поправляющейся в Киевской больнице.

Из Кронштадта и Владивостока, из Одессы и Челябинска в восьмиметровую комнату сельской почты идут слова, повествующие о победах, о героическом пути, о десяти годах.

Иртюга возвращается с ворохом бумаг в свою типографию.

На последней полосе осталось свободное место для телеграмм. Газета будет торжественной, со стихами, портретами. Число «10» уже отпечатано красным.

Доярки вышли, как всегда, спозаранок. Они первыми вступают в день. Их лица кажутся заспанными тем, кто вовсе не ложился в эту ночь.

Кололи кабанов, ставили хлеба, набивали тюфяки для гостей.

Ночью к станциям Крыжополь, Дохно, Тростенец, выехали грузовые машины. Поезда проходят ночью. Они стоят по минуте.

Фрося Сауляк на несколько минут задержалась у входа в хлев. Она не идет прямо, как всегда за ведрами, а останавливается, будто что-то старается вспомнить или найти.

Коровы спят лежа, грузные и темные, точно укутанные теплыми коричневыми одеялами.

Фрося садится на табуретку. Она должна осторожно вывести «Маланку» из

сна. Если толкнуть ее ведром в бок, «Маланка» проснется быстро, но даст молока на поллитра меньше.

Фрося гладит ее по заду и нежно начинает с ней разговаривать:

— «Маланка»! Сегодня десятиричча коммуны!

Медленно подымается «Маланка». Отставляет левую ногу. Фрося влажной тряпкой моет вымя, покачивает его на руках и только после этого берется за соски. Струи ударяют о дно ведра.

Фрося несет ведро к сепаратору, подготавливает корм, мешает его, взвешивает. Потом чистит стойки, подкладывает свежее сено и толкает от себя тележку с навозом, подвешенную к металлической рельсе.

На двор коммуны въезжает первая автомашина.

Музыкальный взвод 49-го кавполка в полном составе прибыл на колхозное торжество.

Трубачей, флейтистов и капельмейстера отводят в душ.

Наступает утро. Прохладная тишина начинающегося дня окутывает верхушки озябших деревьев.

По бывшему Екатерининскому тракту, по проселочным дорогам, бодро бегут небольшие подольские кони, гремят подводы. Колхозники едут на праздник десятилетия коммуны. Девушки одели ожерелья из точеных камней, вышитые рубашки и длинные до земли, черные запаски, подпоясанные разноцветными поясами.

Многие — в маркизетовых и атласных платьях. Они размахивают ногами, не отрывая глаз от новых туфель на высоких деревянных каблуках.

Грузовики, подъезжая к воротам коммуны, гудят особенно протяжно. Грузовики останавливаются у дверей конторы. Коммунары вглядываются в приезжающих.

Левицкий всегда в движении, у него кривые ноги кавалериста, и быстрая походка.

Гажалов за час до отхода поезда в Москве вычислял интегралы на большой черной грифельной доске в своей комнате в общежитии студентов Промакадемии имени Сталина. Ему в виде исключения представили трехдневный отпуск.

Гажалов и Левицкий первыми обходят хозяйство коммуны.

Они, политработники бригады Котовского, остались после демобилизации проводить свою работу комиссаров с бойцами, еще очень неопытно и тяжело вступавшими в мирную обстановку.

Сегодня коммуна превратилась в выставку.

Колхозные конюхи и свинари рассказывают о пяти чесоточных лошадях в 1924 году, об одной корове, и о двуспальной кровати, на которой спали семь демобилизованных котовцев, пришедших в Ободовку строить коммуну.

Гомонюк быстро комкает слова, приглашает посмотреть то, о чем коротко говорят цифры, забравшиеся вверх диаграммы.

У каждого стойла свеже-выкрашенные таблички с именем коня и его родословной. Триста упитанных коней. На многих крупах щетками выведены нарядные полосы.

Газета вышла во-время. Иртюга готовится к торжественному собранию, он кладет вечное перо и шелковый платочек в верхний карман пиджака.

В комнатах побелены стены, развешены вышитые полотенца. Подушки как тесто всходят на постелях.

Коммуна вступает в праздник. Люди стоят на дворе, у большинства из них нет сегодня никаких дел. Только фотограф решает необычную для него задачу: он должен поместить на одном снимке четырнадцать грузовых и одиннадцать легковых машин.

Недавно вступившие на проселочные дороги Чечельницкого района, амовские и горьковские полуторатонки и «Форды» выстроились на дворе коммуны, в тридцати верстах от железной дороги.

Единственный чистильщик сапог города Тульчина садится на табурет посередине двора. Его пригласили сюда на гастроли, так же как артистов киевского театра Красной армии. Он восемь лет чистит хромовые сапоги и белые туфли на главной улице Тульчина.

Вокруг него столпились ребятишки, дядьки в белых кожухах, окаймленных

1932 год
ОКТЯБРЬ
2
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Окончание работ пленума ЦК, обсудившего вопросы развития советской торговли, производства товаров широкого потребления и черной металлургии.
Спуск на воду советских океанских лесовозов „Северолес" и „Максим Горький".
В Хибинах обнаружены новые залежи аппатитов.
Опубликование декрета ЦИКа о создании Народного комиссариата зерновых и животноводческих колхозов.
Ударил нефтяной фонтан, вышиной в 36 м на Чусовских городках.

черным барашком и парни в пиджаках и косоворотках.

Большинство из них в первый раз в жизни видят, как работает чистильщик сапог. Павел Таносиенко, недавно вступивший в колхоз «Новая Громада», доверяет черноглазому гастролеру свой сапог. Ему нравится его умение.

На балконе играет оркестр 49-го полка, в парке оркестр коммуны, у входа в фабрику-кухню оркестр соседнего сахарного завода.

Чистильщик спрятал свои щетки в ящик и смотрит вверх.

Колхозная повариха Анастасия Гомонючка первый раз в жизни совершит сейчас необычайный для нее поступок.

Поднявшись на парашютную вышку она чуть не перекрестилась, отрывая ноги от доски. Парашют, нарядный, как Гомонючкин платок, понес ее к земле.

Гомонючку подхватывают «кавалеры», московские художники Игумнов и Смирнов. Они ведут ее на свою выставку в клубе коммуны. Гомонючка смотрит на то, как застыла она на полотне с фруктами на подносе.

На картинах художников вишневое цветение, половодьем разливается по Ободовке, на фоне заката стадо приближается к хлеву.

Коммунарка Лиза Гончаренко расчесывает волосы перед зеркалом.

Солнце поднялось над тополями. Фонтан забил сразу — неожиданно и говорливо. Капли разбрызгивались по мертвым, холодным листьям.

Небо голубым простором легло над Ободовкой.

У дверей фабрики-кухни сразу же образовался затор. Каждый должен сдать свое пальто на вешалку и получить взамен номерок.

Мы входим в главную залу фабрики-кухни. Сразу становится весело.

Пол в пестрых метласских плитках, зигзагообразная кайма вьется по стенам, ловко оттянута тонкой костью филенка.

И как-то иначе, сквозь большие окна, воспринимается ободовский пейзаж. Особенно одинокой над уходящей далью, в которую вкраплены соломенные картузы хат и плетеные заборы из ивовой лозы, кажется фабричная труба ободовского сахарного завода.

Церковь, напротив фабрики-кухни. Эти два здания среди белых мазанок в нескольких саженях друг от друга, как полководцы, отделившиеся от рати для единоборства.

Взад и вперед разгуливает по кухне «кок» коммуны Сикорский.

Он должен накормить несколько тысяч человек, накормить вкусно и сытно. В его распоряжении четыре паровых котла. Машины для резки хлеба и овощей. Приготовлены и стынут в подвале несколько бочек компота, несколько тонн коврижек. В виноделке — виночерпий коммуны Крот заканчивает фильтровку смородинного вина.

Распорядители сдерживают напор толпы к окнам. Всех не может вместить фабрика-кухня. Открытые форточки заменяют рупора.

Секретарь парткомитета коммуны, Жиденов, входит на помост.

Капельмейстеры наготове.

Имена Сталина, Кагановича, Молотова, Петровского, Ворошилова, Постышева, Коссиора. Имена Левицкого, Гажалова, Лепехина. Члены президиума занимают свои места на помосте. Фрося, только что вернувшаяся с обеденной дойки, проталкивается в зал.

По рядам проносится весть:

«Из Москвы на самолете, на торжество коммуны вылетел летчик-челюскинец Бабушкин».

Планеристов срочно вызывают из зала. Нужно сшить полотна, и разложить их на колхозном аэродроме, на который

еще ни разу не прилетал ни один самолет.

Все чувствуют сквозь торжественный марш и приветствия, как над просторами страны, именно к Ободовке, летит самолет со славным летчиком.

Слово предоставляется Виктору Левицкому. Он обещает говорить не больше пятнадцати минут. На каждый год борьбы коммуны по полторы минуты.

Левицкий рассказывает о том, как открылась коммуна.

...Многие из приехавших не были здесь по восемь-девять лет.

Шинявский был директором банка, когда девять лет тому назад к нему в кабинет ввалились оборванные люди в расстегнутых шинелях и распускавшихся обмотках. Они просили денег, им нужны были лошади, плуги, чистосортное зерно, у них ничего не было кроме их боевого прошлого.

Прошлые дни коммуны присутствуют здесь, раздвигают границы сегодня.

...День открытия коммуны и электростанции в 1924 году, когда включили рубильник и свет наполнил огромную лампу на столбе посредине двора. Местечковый оркестр, скрипач, флейтист и барабанщик, исполняли тогда свадебную кадриль. Коммунары показывали своим первым гостям действие электричества. Селяне не верили Гажалову и электрочайнику. Они думали, что нет такой силы, которая может заставить воду в несколько минут закипеть.

Гажалов принес холодную воду, налили чайник, дядьки опустили в него свои пальцы. Гажалов включил штепсель, они держали пальцы до тех пор пока не появился пар, а потом — торжествовал и Гажалов и чайник — ободовские селяне в полном молчании, переглядываясь друг с другом, смотрели как закипает, бурлит и выплескивается из чайника кипяток.

...Дни, когда изнемогали лошади и страдал Гомонюк. Выносили раньше боевые кони котовцев победителями из битв, а на ободовской земле еле-еле волокли ноги. Люди гнали, уговаривали лошадей, а по вечерам сваливались на двуспальную постель пана Сабанского.

...Дни, когда в Кучугурах и на Лозах говорили им ободовские дядьки: «Есть степи, идите туда и хозяйствуйте, идите в Херсонскую губернию, мы воевали, помещика выгнали, дом его не разрушили, чтоб школу здесь устроить, а тут пришли какие-то оборванцы холостяки, что они построят. Гнать их надо. Мы советскую власть признаем, а коммуну признать не можем».

...Огромные осенние ночи, когда густая темнота простиралась перед Лебедевым, сторожем коммуны. Осенние ветры обманывали его, били о жесть. Лебедев отличал ветры от тех, кто в такие ночи лезли на крышу дома за жестью, жесть крали для самогонных кубов.

...У Левицкого истекает время. Он должен приветствовать коммунаров не только лично от себя, но от имени Наркомзема Украины.

Он приветствует, а сидящие перед ним вспоминают, как несколько лет тому назад, правда не в таком зале, провожали его коммунары в Америку, где их председатель должен был изучить опытные хозяйства северо-американских штатов.

А потом, через несколько месяцев Левицкий рассказывал коммунарам об Америке. В хлеву устанавливали привезенные им автоматические поилки, а для свиноматок строили канадские переносные домики. Коммуна помнит, как провожала она Левицкого, когда он, как выдвиженец, получил назначение на руководящую работу в Наркомземе.

...Он заканчивает свою речь.

Начальник политотдела, ленинградец Лепехин, провозглашает:

— Первая ободовская селянка, десять лет тому назад вступившая в коммуну — Лиза Гончаренко — премируется коровой!

На фабрике-кухне

Фото В. Шмерлинга

— Коммуна премирует детей Котовского—Лелю и Гришу—пианино.

Леля Котовская подпрыгивает за столом президиума, Лиза Гончаренко крепче подвязывает узелки головного платка. Четыре оркестра, как эстафету передают друг другу туш.

Длинный перечень награжденных путевками в санатории, отрезами, костюмами, поросятами, телками, деньгами, охотничьими ружьями.

Козюберда в первый раз заметил время на новых, только что полученных, в качестве премии, часах.

Волнуется Сикорский. Пора кончать торжественную часть. Остыл компот. Ведь в конце концов это фабрика-кухня, а не зал для заседаний.

Слово предоставляется поварам и официантам. Они дирижируют черпаками и подносами.

Первый тост. Сотни стаканов, наполненных смородинным вином, подняты над столами.

Свинари, доярки, трактористы, учетчики, бригадиры, красноармейцы, товарищи по эскадронам, ветераны краснознаменных дивизий, трубачи, барабанщики пьют за завтрашний день, чтоб было больше зерна, свиней, повидлы.

Лиловая темнота затопляет Ободовку.

В междуцарствие сумерек вступает резкий накал электроламп.

В поле осоавиахимовцы разводят костры. Он должно быть уже близко, Бабушкин.

На фабрике-кухне сдвинуты столы. Объемистый завдвором Довгань и плотник Кацюбский берут друг друга за руки. Кацюбский протягивает руку Юхтиму Вознему, ездовому 2-й бригады, Довгань — Чорбе-огороднику, Чорба бабушке Якубовской. Растет круг, посередине невысокая девушка, она передает привет от артистов театра Красной армии, она вскидывает вверх руки и вслед за ней то же самое делают и Довгань и Кацюбский.

Сегодня агрономы не определяют погоду и влажность почвы. Сеялки в инвентарном сарае. К празднику закончили осеннюю посевную.

И все те, кто ходит за сеялками... вскидывают вверх руки, приседают на носках...

И даже девяностолетний кузнец Добжанский, служивший еще у пана Сабанского, охмелевший от одного стакана вина, приглашает киевскую затейницу сплясать с ним.

Дворец культуры в коммуне Котовского — **Фото В. Шмерлинга**

Светло в зале. Огромные окна — как озера света. За ними поля, освобожденные от бураков, и три тысячи гектаров под зябь слились с темнотой.

На балконе усадьбы горит скромная иллюминация.

За много верст кругом видны огни коммуны.

Юбилей коммуны — праздник каждой семьи. Нужно поспеть всюду. Особенно трудно Левицкому и Гажалову. Они получили сотни приглашений.

Дымуцкий приглашает так, что ему нельзя отказать, он перехитрил всех. Сегодня, в день десятилетия коммуны выдает замуж свою дочь.

...Дымуцкий долго присматривался к коммуне. Хозяева они или перелетные соколы, — сегодня сел, а завтра улетел.

В 1930 году Дымуцкий вместе с сотнями ободовских семей вступил в коммуну.

Гости коммуны — его гости. Не так выдавал он своих старших дочерей. Не было у них таких женихов. Недавний водитель танка, в коммуне стал парторгом полеводческой бригады — теперь он преподает в сельскохозяйственном университете коммуны.

Невеста приобрела в коммуне профессию, только недавно ставшую возможной в Ободовке. Лена работает у станков макаронной фабрики.

— Эх, думал ли я, когда вас в начале «проклятыми бессарабами» в селе называли, что будете вы на моей свадьбе гулять, да еще в день какой. Ведь это вы меня, товарищ Левицкий, с коммуной сосватали.

Дымуцкий сегодня растроган и умилен. Он обнимает и целует своего зятя.

— Вот он какой у меня!

Он сидит рядом с новобрачными за длинным столом, с другой стороны к ним подсел подвыпивший Канoненко, он только сегодня приехал в коммуну и ему нечем похвастаться.

— Жених, ты научи меня, я буду на тракторе ездить, а то вот Иван Гомонюк, друг мой, большим человеком в коммуне стал, а Лозинский-то ведь вместе с ним лошадей у Якира крал, в другую масть они перекрашивали, а теперь ей-богу не вру, целыми тысячами ворочает. Ольга Петровна, мамаша, посодействуйте, в коммуне хочу остаться.

Десять лет тому назад звал Котовский после демобилизации своих бойцов строить коммуну, ходить за конями. Каноненко сорвался из коммуны в первый год. Он где-то странствовал, менял профессии, раза два отбыл заключение, а вот теперь пригласительный билет на юбилей застал его в тот момент когда он снова думает переменить местожительство.

Поднимается Колотвина.

— Эй, ты, партизан, помолчи. Сейчас ректор говорить будет — Дымуцкий сам выбрал себя председателем свадьбы.

Колотвина поздравляет. Ее перебивает Левицкий.

— Товарищи, а нам надо поздравить Колотвину вместе с новобрачными. Ведь наш ректор — первая мать, родившая ребенка в коммуне. Его назвали в мою честь Виктором. Виктор один лежал в

1933 год
ОКТЯБРЬ
2
ПОНЕДЕЛЬНИК

Прибытие в Москву корреспондента „Правды", отозванного из Германии, в связи с недопущением его на процесс о поджоге рейхстага.
Октябрьская сессия Академии Наук.
Персидский шах подписал советскую конвенцию об определении агрессора.
Обращение генконсула т. Славуцкого к дипломатическому агенту Манчжоу-Го в Харбине о бесчинствах на ст. Пограничной.
Выплавлено чугуна и стали 42 400 тонн.
Добыто угля 205 400 тонн.

детских яслях. Помнишь, Колотвина, как ругали тебя бабы, когда ты купала детей, боялись, что ты счастье смоешь.

Колотвина работала в детских яслях, организовывала птичник, заведывала инкубатором. Потом поступила в Каменец-Подольский педагогический институт. Недавно вернулась в коммуну. Колотвина ректор Сельскохозяйственного университета. Зимой все учатся в коммуне.

Котовец Лозинский рассказывает Котовской о своем сыне. Лозинский привык всем делиться с «мамашей».

— Кончил он семилетку. Сейчас думаю на осень устроить его где-нибудь в техникум и учить его и учить до того, чтоб он был у меня не профессором, а инженером-конструктором, чтоб я на старости запустил себе сивую бороду и видел, что он инженер-конструктор, а я буду ходить, а он будет говорить «папа, ты воевал, смотри какой ты теперь старый», и когда он будет инженером-конструктором я поживу у него год-два и я тогда уже умирать буду.

Миша Лозинский, Виктор Колотвин и Гриша Котовский сидят вместе со взрослыми.

— Витя Колотвин, пьем за тебя, тебе скоро десять лет! — провозглашает Левицкий тост за своего тезку.

— Он хочет сразу все, и юбилей и свадьбу и именины, Витя, а твою свадьбу отпразднуем вместе с двадцатилетием коммуны!

Дымуцкий наливает в стаканы ребят виноградный сок.

Во всех этажах, комнатах и недавно выстроенных колхозных, образцовых хатах, люди пили вино, плясали, вспоминали.

Молдаване плясали джог, взявшись за руки, раскачиваясь в такт.

Бывший чебан Чорба пел песню — дойну.

И жизнь как песня. Вышел пастух, белые овцы на зеленом просторе. Счастлив пастух, ни о чем не думает. И песня просторная как полет. Но разбрелись овцы. Растерял пастух стадо и замирает песня,— не слова, а отзвуки. Песня сходит на-нет. Но потом прибегают овцы и опять подымается песня на крыльях.

Поет Чорба, Тэтэр не понимает слов песни.

Вечером он приветствовал коммуну от Наркомзема Союза, теперь же не от имени Наркомзема, а лично от себя — поет песню на своем родном языке, латышскую песню. Его слушает Чорба.

Мититсл—председатель коммуны—выходит из комнаты. Он идет проверить работу механиков на электростанцию.

Сегодня необычная за все десять лет нагрузка на станцию в сорок пять киловатт. Как бы не подвести. Судьба праздника сейчас здесь у рубильника.

Мититсл поздравляет электромехаников и сообщает о премиях.

Мититсл обходит хозяйство.

В окнах фабрики-кухни цветы в кадушках и клеенчатые квадраты столов.

Фабрика-кухня как огромный океанский пароход, причаливший к речной пристани, на которой качается фонарик и скрипят уключины. От парохода идут и разливаются волны.

Богатство коммуны и веселье ее охраняют сторожа. Они всюду: у телятников, складов, на конюшне и по дорогам.

Мерно дышит мотор водокачки.

Мититсл должен еще успеть поговорить с Гажаловым.

Гажалов должен сегодня же поспеть на скорый московский поезд. Через день он ровно в восемь должен быть на лекции в Промакадемии. Гажалов ста-

вит перед Митителом и товарищем Лупой деловые вопросы: «в плохом состоянии телята, нужно в здании костела организовать звуковое кино, нужно обязать Левицкого, чтобы он через Наркомзем Украины достал образцы новых, сельскохозяйственных растений, товарищ Лупа, помощник Наркома земледелия Союза, должен поставить вопрос о включении в план на снабжение промышленных предприятий коммуны».

Гажалов прощается. Он первым покидает праздник. Через несколько минут он увидит издали огни коммуны и ему будет о чем размышлять по дороге.

О том, кто и кем стал за это десятилетие. О том, как не думал он, курский пекарь, что будет начальником особого отдела бригады Котовского, будучи же начальником, не знал, что будет поваром коммуны. А когда варил щи на семерых, разве мог предполагать, что через несколько лет, в день десятилетия коммуны, будет спешить в Москву, к грифельной доске вычислять интегралы.

Он всегда будет помнить и жить Ободовкой, куда принес он после фронтов страсть бойца, доблесть краснознаменца и улыбку запевалы.

Через несколько лет он будет инженером, руководителем стройки в какомнибудь городе или местечке громадной страны. А может быть и в самой Ободовке, которая скрывается за холмом.

Сегодня никто не ударил двенадцать раз об металлическую рельсу, никто не сорвал листок со стенки календаря.

Во-всю гуляют на свадьбе у Гомонюка.

Только один Иртюга, с вечным пером и шелковым платочком в кармане, заснул, как только добрался до постели. Должно быть во сне ему снятся приветственные телеграммы, он не может всех их вместить на одну полосу.

День закончен, Иртюга спит, праздник продолжается.

Вместо торжественного конца, необходимо сделать примечание, ставшее возможным только через несколько дней после праздника.

К одному из коммунаров приехала бабушка, о чем была своевременно послана предупредительная телеграмма: «выехала бабушка», а не «вылетел Бабушкин», как было сказано на клочке бумаги, пришедшем в коммуну, благодаря разгоряченной фантазии телеграфиста. Так или иначе, товарищ Бабушкин, что бы вы ни делали, и где бы не были в тот день, знайте, вы незримо присутствовали на празднике десятилетия коммуны имени Котовского, в местечке Ободовка, Чечельницкого района.

Это был один из ваших чудеснейших «перелетов».

В Мартенах СССР

выплавлено 2-го ОКТЯБРЯ 1934 года.

28 000 ТОНН стали.

Это — вес 17 блюмингов, типа ижорского (не считая фундаментных плит и настила).

28.000 тонн металла достаточно, чтобы отлить рельсы для четверти Турксиба, одной из крупнейших железных дорог страны

Суд удаляется на совещание

В. Ядин

Раздаются шаги. Конвоиры подтягивают скрипучие ремни портупей и выпрямляются. Подсудимый поднимает голову. Родственники на третьей скамье перестают шептаться и торопливо вытирают традиционные слезы.

В зале становится тихо. Входит суд. Народный судья Липов и народные заседатели Фадеева и Федотов, стуча креслами, усаживаются за длинный стол, поставленный на невысокий помост и накрытый поблекшим кумачом. Суд начинается.

Слушается дело по обвинению Егорова по 109-й статье Уголовного кодекса.

— Встаньте, гражданин Егоров!

Гражданин Егоров Петр Алексеевич обвиняется в том, что, работая уполномоченным по децентрализованным заготовкам отдела рабочего снабжения завода «Красный богатырь», он растратил пять тысяч рублей, сорвал план заготовок и кроме того занимался самоснабжением, присвоив из запасов ОРСа девяносто килограммов меду, тысячу штук яиц и тридцать три килограмма битых цыплят.

— Егоров, признаете себя виновным?

Егоров приближается к столу. Он горько улыбается и пожимает плечами. Нет, он не признает себя виновным! Народный судья Липов закрывает папку дела и отодвигает ее в сторону.

— Хорошо! Расскажите как было дело?

Рабочий день судьи начался. Впрочем по существу он начался немного раньше, часу в девятом. В десять минут десятого у приемного окошечка судьи уже толпились люди.

Председатель товарищеского суда швейной фабрики Местпрома взволнованно спрашивал, как поступить с систематическими бракоделами, которые плохо пришивают подкладку на хорошую доху. Немолодая женщина, работница фабрики им. Цюрупы, тихим голосом жаловалась на администрацию. «Не выполняет постановления РКК, сделайте что-нибудь!» Родственники просили свидания с заключенным.

Судья слушал, расспрашивал, советовал, писал заключения. Все это заняло полных два часа. А потом он поехал в Сокольнический исправдом на заседание наблюдательной комиссии, где был председателем. И там произошло то, что хотя и стало уже обычным явлением для Липова, но тем не менее каждый раз по-новому наполняет судью чувством гордости и непередаваемым ощущением большого и радостного удовлетворения нелегкой своей работой.

Суд продолжается. Егоров говорит быстро и крикливо.

— Послали значит меня, граждане судьи, уполномоченным ОРСа в этот район, на заготовки. Приезжаю на место и что же я наблюдаю? Я наблюдаю, что там даже централизованный государственный план и тот не выполняется. Такой район неудачный мне выпал...

Долго и путанно рассказывал Егоров, почему он не выполнил плана заготовок. Оправдывается он хотя и хитро, но неуклюже. Защитник нервничает, кусает карандаш. Заседатели недоверчиво улыбаются. Судья непроницаем. Он — весь внимание. Кажется, ничего в мире не существует сейчас для него, кроме хрипловатого высокого голоса подсудимого.

На самом деле он не только слушает подсудимого, но и внимательно наблюдает за народными заседателями. Сейчас заседатель — серьезная фигура в суде. Прошло то время, когда заседатель молча и покорно соглашался со всем, что скажет судья. Переступив порог совещательной комнаты, заседатель чувствует себя хозяином. Он спорит и предлагает, он настаивает и противоречит. Совсем недавно оба заседателя разошлись с Липовым в выводах по одному делу. Они настояли на более жестком приго-

воре и Липову пришлось принять и объявить их выводы. Считая все-таки себя правым, он приложил к протоколу свое особое мнение. Но Губсуд приговор утвердил без изменений.

С тех пор Липов тщательно присматривается к заседателям. Сегодняшние заседатели Фадеева и Федотов работают с Липовым уже три дня. Фадеева, слесарь завода «Геофизик», не очень развита, она молчит и в зале заседаний и в совещательной комнате. Зато Федотов, двадцатисемилетний механик этого же завода, активен необычайно. Он твердо знает свои права и осуществляет их в полной мере. С таким заседателем хоть и хлопотно, но приятно работать.

— ...А что касается пяти тысяч, граждане судьи, то я, извините, просто не понимаю, куда они могли деваться.

Егоров сокрушенно разводит руками и умолкает.

Все! Он стоит невинный и розовый, как ребенок. Но судья видал виды. По профессии типографский рабочий, печатник, он не окончил никакой специальной юридической школы, но три года судебной практики и всеобъемлющий опыт партийной работы, сделали его проницательным и упорным ловцом душ человеческих.

Сегодня прибыв из исправдома, он уже успел рассмотреть четыре дела. Правда, это были не особенно большие дела: восстановление на работе, гражданский иск, сторублевое хищение на заводе, но все же надо было внимательно слушать, тщательно проверять, осторожно решать. Он устал. Свет висящей под самым потолком лампы кажется ему тусклым, мутно-желтым. Лицо Егорова маячит перед судьей круглое, испуганное. Судья вспоминает другое лицо, виденное сегодня у ворот Сокольнического исправдома, и тотчас поднимает ресницы, прогоняя усталость.

— А скажите, подсудимый, – спрашивает он негромко, но отчетливо,— вели ли вы запись получаемых и расходуемых вами денег?...

Заседание продолжается.

У ворот Сокольнического исправдома судья встретил сегодня Геннадия Виноградова. Год тому назад Виноградов, широкий рослый парень двадцати семи лет, связав и обезоружив сторожа, взломал галантерейный магазин в Сокольниках и украл оттуда разных товаров на сумму около тысячи рублей. Его задержали на третий день на Ярославском рынке, где он сбывал краденое. В отделении обнаружилось, что парень имеет два привода и одну судимость за кражу с приговором к исправительным трудовым работам на шесть месяцев.

Через две недели его дело слушалось в Сокольническом нарсуде. Судил его Липов.

Виноградов стоял перед судейским столом, широко расставя ноги, опустив по-бычьи голову, глядя исподлобья. Отвечал резко и коротко. Сердился, что пристают с вопросами. Липова удивила тогда невероятная тупость парня, и упорное нежелание понять сомнительность его профессии в советском государстве. Парень отмахивался от вопросов, как от назойливых мух. Ремесла никакого он не знал, читать не умел. Было ясно, что если он выйдет отсюда на улицу, то сегодня же ночью взломает следующий магазин. Липов приговорил его к трем годам лишения свободы.

За окном судебного зала становится все темней. Торчат скелеты голых деревьев. Вечер. Заседание продолжается.

Неожиданность и уверенность вопросов судьи сбивает подсудимого с толку. Редкие вопросы заседателя Федотова ставят его в тупик. Подсудимый мнется, стараясь все же сохранить облик угнетенной невинности. Ему это удается все слабее. Родные с тревогой и беспокойством следят за ним. Защитник шумно кладет карандаш на стол. На лице у него написано: «Ну, теперь пеняйте сами на себя, я сделал все что мог!»

Липов все уверенней и решительней ведет допрос. Ему все ясно. Дело возникло по заметке в газете «Рабочая Москва» и, как большинство таких дел, оказалось заслуживающим внимания. Оно подходит под закон от седьмого августа об охране социалистической собственности. Перед судом стоит неглу-

ный, грамотный, вполне обеспеченный человек, достаточно сознательный, чтобы полностью отвечать за свое преступление. Точка. Все понятно. Больше вопросов у судьи нет. Он оборачивается к заседателям.

— Вопросов нет?

Заседатели вопросов не имеют. Судебное следствие окончено. Слово имеет защитник. Невысокий, плотный, увенчанный пышной седоватой шевелюрой, он встает полный достоинства и такта.

— Граждане судьи! — проникновенно и тихо начинает он. Заседатели слушают его со слегка наивным любопытством.

— Бывают такие обстоятельства, граждане судьи,— горестно говорит защитник,— когда человек, не желая и не предполагая совершить преступление, все же совершает его и становится преступником. Так случилось и с моим подзащитным подсудимым Егоровым. Повторяю, только абсолютная халатность бухгалтерии ОРСа «Красный богатырь», проверившей отчеты Егорова, утвердившей их и обнаружившей факт растраты им пяти тысяч только при третьей проверке уже после заметки в газете, создала такое положение, при котором мой подзащитный Егоров оказался преступником. Обращая внимание суда на это обстоятельство, я прошу вас, граждане судьи, о смягчении приговора, я прошу об исправительно-трудовых работах.

Защитник вытирает лоб платком и садится. Начинается последнее слово подсудимого.

Два месяца тому назад в огромных коридорах Сокольнического исправдома Липов неожиданно встретился с осужденным им когда-то Виноградовым и Липов узнал его и окликнул.

Они разговорились. Оказалось, что Виноградов почти тотчас же после суда был переведен сюда, и живет здесь. Вернувшись в комнату наблюдательной комиссии, Липов просмотрел записи о Виноградове и удивился.

Парень вел себя отлично. Он научился ткацкому ремеслу и не только сам работает, но и обучает учеников. Ударник. Вырабатывает сто тридцать процентов нормы. Дисциплинирован. Не имеет ни одного взыскания. Научился грамоте. Энтузиаст и общественник. И хотя это было не так уже неожиданно для Липова (за свою судебную практику он знал не один случай переделки человека советской исправительной системой), все же факт этот удивил его.

Два месяца Липов наблюдал за парнем и убедился, что Виноградов, во всяком случае, на пути к исправлению.

Виноградов кажется всерьез нашел свое место в жизни. Тогда народный судья Липов, как председатель наблюдательной комиссии, предложил, заключенного Виноградова, освободить досрочно. Сегодня утром наблюдательная комиссия обсуждала этот вопрос и постановила Виноградова освободить.

Дождь за черными окнами судебного зала усиливается. Резкий осенний дождь. Медленно и тяжело произносит последнее слово подсудимый. Он говорит и говорит, подымая руки и призывая всех в свидетели своей честности. Судья смотрит на него в упор. Заседатели, еще не привыкшие к публичным исповедям, смущенно отводят глаза. Вечер длится.

Сегодня утром, после заседания комиссии, у самых ворот исправдома, Липова кто-то окликнул. Это был Виноградов. Он стоял перед судьей, молча и тяжело дыша. От страшного смущения и неловкости он вспотел. На лице его проступили багровые пятна.

— Ну? — спросил Липов и дружески протянул ему руку.

— Спасибо, гражданин судья, — сказал вдруг Виноградов глухо. — спасибо на всю жизнь!— И от неловкости, забыв подать руку, он круто повернулся и быстро пошел прочь.

Девять часов вечера. Подсудимый, наконец, кончает свою длинную речь.

— Убедительно прошу вас, граждане судьи, иметь снисхождение,— произносит он и сразу обмякает, тяжело садясь.

Судья встает. За ним подымаются заседатели. Судья на минуту задерживает взгляд на подсудимом, поворачивается и произносит голосом, не оставляющим надежд.

— Суд удаляется на совещание!

театральные будни

П. Сухотин

Подлинное произведение искусства никогда не носит на себе следов трудового пота. Оно кажется легким, потому что непосредственно действует на наше восприятие. Но это совсем не значит, что не требуется большого труда для того, чтобы содеять что-нибудь настоящее в искусстве. Наоборот, труд художника громаден. Его лаборатория представляет из себя картину того чернового хаоса, из которого в будущем должны выйти совершенные образы, но который в процессе самой работы отмечен всеми чертами трудовых дней. Художник, как и всякий работник, испытывает муки неудач и зачастую в исканиях своих проводит бессонные ночи, добиваясь совершенства.

Ложное представление о той легкости, с какой дается таланту его произведение, создалось благодаря тому, что мы обычно бываем созерцателями или слушателями завершонного создания. Если бы можно было особым прибором записать трату трудовой энергии у музыканта, писателя и актера и перевести это на лошадиные силы, то получился бы воистину фантастический показатель для возможностей человеческой натуры. Мы всегда видим искусство нарядным, и чем оно наряднее, тем менее мы думаем о труде.

В этом смысле театральное искусство более всех других искусств, кажется нам, далеко отодвигает зрителя от трудового дня актера. До сцены, на которой он перед зрителем начинает творчески жить, есть еще много этапов, какими он приходит к своему художественному образу, и если от этого образа идти обратным путем, то мы должны увидеть актера снова на той же сцене, но перед пустым зрительным залом, где только несколько человек сгруппировались у режиссерского столика с одинокой лампочкой под темным абажуром, со звоночком и рукописью пьесы, испещренной карандашными пометками. Потом — за кулисами, где он зрительно оформляет театральный образ и стоит на грани последнего шага к сцене. Потом — в фойэ, среди условных выгородок из остатков старых декораций, а до этого этапа — тут же за столом, при чтении и разборе пьесы, и, наконец, вне стен театра.

Но где это — «вне театра»? Менее всего можно представить себе актера работающим в одиноком кабинете (разве только за книжкой, которая оказалась дома), а скорее — в библиотеке, в музее, на заводе, на улице. В процессе своей творческой работы актер покидает стены театра, как пчела—улей, только для взятка, и, как та же пчела, добытый материал несет в общие театральные соты, ибо он в своей работе коллективен и, будучи оторван от коллектива, если не погибнет, то в лучшем случае становится дичком, не ухоженным заботами родного гнезда.

Эта органическая сила, связывающая актеров в коллектив, особенно ощутима в театре имени Вахтангова. Она питает его дерзания, она поддерживает его молодость, а молодость эта ставит его в первые ряды культурного фронта советской страны.

Сняв в раздевальне пальто, актер останавливается у доски, повешенной на стене вестибюля. На доске — план нынешнего дня, но для него еще не совсем завершон день вчерашний. Вчера он был занят в спектакле, и пусть выступление его было по счету хотя бы, к примеру, сто пятым, он не перестал интересоваться тем, как выглядело вообще вчерашнее театральное зрелище и каков был он сам: не поблек ли образ, нужны ли для него вновь найденные краски, и согласованы ли они с общим тоном палитры целого спектакля.

Газетная и журнальная критика только однажды приходит в театр. Она — очень важная особа, ей недосужно придти туда, помимо премьеры, на самый обычный вечер, и проверить себя: не ошиблась ли она в своих суждениях и не следует ли, хотя бы на двадцатом ра-

зе, поаплодировать тому, кто в первый раз еще робко намечал свой сценический образ, за что и был пригвожден острым словцом в газетной статье раз и навсегда.

За это, конечно, актер не понижен в разряде, не подвергнут выговору, ибо в советском театре прежних антрепренеров нет, и в конце концов не это его волнует. Ему нужно знать цену своим творческим усилиям каждого дня, ему нужна проверка, и он создал ее в своих трудовых буднях. Это — бригада художественного контроля, которая состоит не из важных знатоков театрального искусства, а из своих товарищей по работе. Эта бригада не застывает на целый сезон в «тройке» или «пятерке», состав ее — переменный. Но, разумеется, и над ней существует контрольный глаз — художественный руководитель театра. Рапорт товарища, наблюдавшего за спектаклем, прежде чем быть опубликованным, прочитывается тов. Захавой, ибо от простого невладения формой могут быть допущены ошибки или ненужная резкость. В критике на первом месте должен быть такт и серьезность.

Сегодня на доске в вестибюле театра вывешен рапорт тов. Ш.

Спектакль «Егор Булычев»

«Приятно отметить, что спектакль не потерял своей свежести и остается образцом ансамблевого спектакля. У Щ. роль не заштамповалась, звучит свежо, импровизационно и исключительно органично. Хорошо, что перестал нажимать на голос, чем раньше иногда грешил. Пауза в первом акте, когда он собирает спички, несколько растянута и засорена излишней жестикуляцией, внимание должно быть больше сосредоточено на болевом ощущении, отсюда пойдет большая скупость формы.

Вообще, каждому исполнителю хорошо было бы проверить паузы в своих ролях и ужать их, если это, конечно, не помешает органическому переходу из куска в кусок. Например, слишком долго Звонцов не может найти предлога для жены, зачем он спустился в столовую (I акт), пауза перетянута. У Лобашкова его молчаливый проход через сцену от иконы в комнату Булычова задуман хорошо, но выполнять его нужно серьезнее, быть больше в кругу.

Очень выросла роль у А., обогатилась хорошо найденными реакциями в кусках, где у нее нет текста, образ стал крепкий и понятный. Только один кусок, мне кажется, играется не от образа: это — «Уедешь в Сибирь...» Здесь А. выполняет задачу уж очень от себя, ее Глафира, по-моему, не жалеет, и ласкает грубоватее, примитивнее. У З. в куске: «Зятек у себя наверху трактир развел...» непонятна задача и нет отношения к совершающемуся в доме безобразию.

В остальном все благополучно. М. стала играть мягче, вернее, сейчас она — девушка, а не девочка, от этого образ стал глубже, значительнее. Немного комикует в танце. Грубо стала говорить фразу: «Вы не очень-то много тут разговаривайте». Сейчас она этой фразой бранит Ксению, а раньше была задача напомнить ей что отцу разговаривать вредно. Значительно выросла роль у Э., стало все понятнее.

Ряд дублеров видела в первый раз. У Б. образ приятный, мягкий, серьезный, только нужно смелее все доносить до публики, а то он несколько не сценичен и в подаче текста (многих слов не слышно), и в движении. З. играет хорошо, очень четко и понятно доносит мысли. Из верных ко всему происходящему отношений сложился образ жулика крупного масштаба. М... Ф. играет мягко и органично. К Шуре и Глафире у него отношения верные, а с Ксенией, мне кажется, он внутренне должен себя чувствовать старше и солиднее. У С. мне понравилась первая сцена, где он подтянут, с военной выправкой, и отношение у него к девушкам и Тятину вежливо-снисходительное. В сцене наверху есть излишняя внутренняя и внешняя распущенность, таким Алексей бывает, вероятно, там, где кутит, здесь же ему не стоит совсем бросать некоторго лоска и франтоватости. У К. велик нос, нужно наклеивать вдвое меньше: слишком молодые, белые гибкие кисти рук не вяжутся с фигурой. П. и Б. мне очень понравились. Б. говорит не совсем внятно, много слов не доходит».

Допуская возможность, что со многими замечаниями этого рапорта не следует соглашаться, но написан он без претензий, без развязности, без витиеватых экскурсов в собственные познания, и

согрет тою трудовой теплотой, которая именно и сообщает плодам усилий Вахтанговского коллектива свежесть молодости. Мало того, в нем звучит неувядаемая традиция самого создателя театра — Е. Б. Вахтангова. Вахтангов учил актера быть всегда в таком порядке, за который он в любой момент, не обинуясь, может отвечать. Актер, говорил Вахтангов, всегда должен быть готов к тому, что вот-вот, вдруг, войдет К. С. Станиславский (учитель) и спросит: А почему вы так сказали, сели или улыбнулись? И этот порядок должен диктовать актеру поведение не только в труде, но даже в быту.

Но вернемся к рапорту. Актер, прочитавший его и попавший в число критикуемых, разумеется, отходит от доски с сознанием большой ответственности, которую налагает на него такое отношение товарища к его труду. И вполне естественно, что около доски в вестибюле театра по утрам, до начала занятий, вы увидите актеров в группах и поодиночке, прочитывающих наколотые листочки с большим вниманием, а потому звонок не сразу увлекает всех наверх, в фойэ, на сцену или в кабинет директора на художественное совещание.

Внизу, в коридоре, людно, и не потому, что актеру нечего делать дома и он спешит от своего безделья в театр. Если актер не обязан придти в театр для выполнения своего специального дела, то он приходит туда на занятия кружков, которые в общем комплексе являются школой, формирующей нового человека.

Представим себе в виде облачка табачного дыма некую неприкаянную тень ушедшего не в такое уж далекое прошлое какого-нибудь хозяина театра. Тень остановилась у первой двери по коридору.

В комнате — группа актеров у свежей газеты.

— О моем бенефисе ничего не пишут? — спрашивает тень, но ее не слышат и читают:

«Пакт о ненападении. Беседа с тов. Литвиновым».

— М-да... — снисходительно мычит тень. — Пьески такой не знаю и читать не стану, а сезончик отлично прокачу на «Осенних скрипках»...

По коридору, как у себя дома, проходит человек в сапогах. На воротнике — петлицы, а на них — птички.

— Послушайте, музыкант, — окликает его тень, — вы из какого гарнизона?

Но человек с птичками, удаляясь, смело переступает порог, запретный для посторонних. Это — представитель авиачасти, где вахтанговцами организован драмкружок, и этот человек пришел сюда по делу. Он ищет товарища из месткома. В ожидании его он сел и проглядывает номер «Ударника Метростроя». И там вахтанговцы. Вот их переписка с шахтой № 1-2:

КОЛЛЕКТИВУ ТЕАТРА им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА

От коллектива ударников, переведенных из 38—40 шахты на наклонную шахту № 1—2 Метростроя.

В дни нашей борьбы за досрочную сдачу готового тоннеля мы не чувствовали разницы между актерами и проходчиками. „Мы все были вместе с вами — строителями метро“, — говорили вы нам. Работая сейчас на одном из важнейших участков строительства метро на шахте наклонных ходов, мы глубоко уверены в том, что наша связь будет еще крепче.

МК партии и лично Лазарь Моисеевич Каганович указывали, что строительство наклонных шахт — самый острый участок метро. Мы чувствуем всю ответственность и доверие, оказываемые нам партией и правительством, когда посылали нас на работу наклонных шахт, но и в этой ответственной работе мы уверены, что будем чувствовать вашу заботу, помощь и любовь к нам — строителям метро.

Петров, Морозов, Бейлин, Лукашов, Петраков, Сизиков, Сивина, Каганович и др. (*всего 250 подписей*).

КОЛЛЕКТИВУ УДАРНИКОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ С ШАХТЫ 38—40, и ВСЕМ РАБОЧИМ и ИТР НАКЛОННЫХ ШАХТ № 1—2 МЕТРОСТРОЯ

Государственный театр им. Евг. Вахтангова, обсудив ваше обращение к нам с просьбой о принятии шефства над вашими шахтами, в связи с окончанием строительства бывших подшефных нашему театру шахт 38—40, решил ваше обращение принять, наметив в ближайшие дни совместно с вами конкретный план нашей работы у вас.

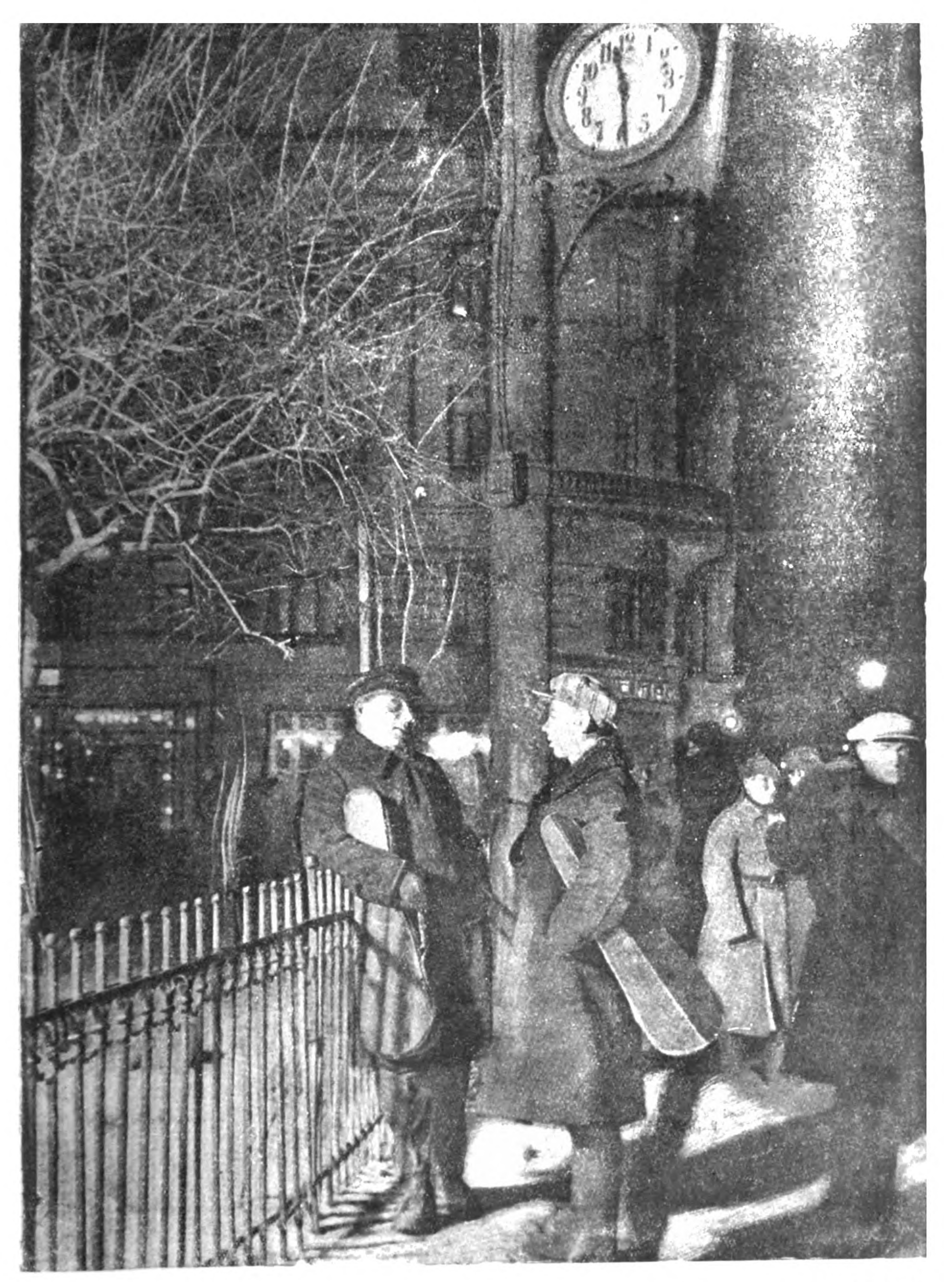
Товарищи рабочие в своем обращении вы пишете, что в дни вашей борьбы за досрочную сдачу готового тоннеля вы не чувствовали разницы между актерами и проходчиками, что мы были вместе с вами, строителями метро.

Театр глубоко удовлетворен такой оценкой нашей работы.

Принимая шефство над наклонными шахтами № 1—2, мы даем обязательство быть вместе с вами до полного окончания строительства.

Ваш решающий участок на метро должен получить наиболее полноценное культурное обслуживание. Такое обслуживание при вашей непосредственной помощи мы и постараемся организовать.

Зав. культмассовой работой — *Ротатаев*
Пред. местного комитета — *Горинов*



В часы театрального разъезда

Фото Г. Грачева

И не только к Метрострою и к подшефному заводу «Каучук» протянулись русла, по которым устремляется от театра Вахтангова жизнерадостная энергия. Свою деятельность он перекинул далеко за пределы Москвы—в Елатьменский район и Горьковский край, где проделана им воистину замечательная работа по созданию самодеятельных колхозных актерских коллективов. И, может быть, сегодня среди толпы зрителей, торопящихся поспеть к началу спектакля, промелькнет скромная фигура провинциала-горьковца в том самом полушубке, который греет в долгие зимние переезды из колхоза в колхоз этого нового актера-бродягу. Он попал на сцену не из студии, не из театральной школы, — он рожден той школой, где самыми прилежными учениками являются его учителя-вахтанговцы: трудовыми буднями Советского Союза.

— Хороши трудовые будни в русском театре. С ними в трубу пролетишь, — бормочет тень прошлого, пробираясь по коридору и слушая возгласы актеров:

— Партию в шахматы!

— Кто едет в театр Революции играть в волейбол?

Откликаются. Шумят. Спорят хозяйственники.

Из комнаты, где играют в шахматы, высовывается голова:

— Товарищи, тише!

Но пыл хозяйственников не остывает, и, удаляясь, они продолжают спорить о тесинах, о фанере, о чьих-то валенках.

Повторяя вчерашний урок танцев, вальсируя с конца в конец коридора, пролетает пара и, вкатившись в нижнее фойэ, примыкает к кучке молодых актеров, собравшихся у зеркала вокруг председателя месткома. Обсуждается вопрос о проводке электричества на тенисной площадке.

Тень, потрясенная бездельем актеров, бредет в столовую подкрепиться. За столами полно, и все в странных костюмах: мужчины — в рабочих блузах, женщины повязаны платочками.

— С такими персонажами пьесы у меня нет, — соображает тень, — а кто же смеет, кроме актеров, появиться здесь? Неужели они так опустились? Надо подтянуть.

Меню завтрака странное: два мясных блюда, нечто еще вегетарианское, и ни одной острой закуски. Но подают женщины — это тень одобряет.

— Налейте мне... — требует она у буфета и превращается в два пальца, указующие размер посуды.

Буфетчица наливает чаю. Тень содрогается, стремительно вылетает из столовой, и, содрогнувшись у плаката: «Просят не курить», тает.

Раздается тревожный звонок со сцены: кто-то опоздал к выходу на репетицию. Между актерами молчаливая переглядка, и один отрывается от группы и летит стремглав наверх по закулисной лестнице на сцену, но все благополучно: в репетиции пауза.

Остановила репетицию мелочь, одно неверное движение актера, но когда постановщик точно знает стиль своего спектакля, и мелочь останавливает внимание. У рампы постановщик Симонов объясняет актеру, как может рабочий-прогульщик входить в кабинет директора завода — нового директора. То, что он объясняет, — убедительно, вход актера найден, и репетиция продолжается.

Внизу опять шум: люди в верхней одежде толпятся у телефона в раздевалке и бродят по вестибюлю, поглядывая на часы. Все они с чемоданчиками. У подъезда загудела машина. Весело, с остротами выходят и выбегают на улицу, хлопают дверью, кричат что-то.

Машина еще раз гудит, и вахтанговцы трогаются в путь. Через несколько часов, за Москвой, на Электрозаводе начнется спектакль. Там их ждут, там их любят, там они нужны рабочим, так же, как им нужна та среда, в которой воспитывается новое искусство.

За полярным кругом

(Из дневника зимовщика)

Борис Рихтер

Шесть часов утра. Население полярной станции спит, кроме дежурного метеоролога. Всю ночь тянулась его вахта. Каждый час записывал он направление и скорость ветра, зарисовывал положение облаков, внимательно следил за малейшими изменениями погоды, отмечал появление и перемены узоров полярного сияния.

В небольшой комнате, обитой, вместо обоев, серым картоном, тепло, несмотря на то, что за стеной снаружи тридцатипятиградусный мороз. Керосиновая лампа-молния одновременно и освещает и обогревает комнату. Одна стена сплошь занята целым рядом приборов, назначение которых — улавливать все изменения погоды. Полка с книгами, полка с вещами, два стола и два стула — составляют меблировку комнаты. У другой стены в два этажа пристроены две койки для спанья. На нижней безмятежно храпит второй метеоролог, который утром сменит своего товарища.

Время подошло к половине седьмого. Пора итти на наблюдения. Метеоролог надевает ватный бушлат, на голову меховую шапку, обматывает шею и наполовину лицо теплым вязаным шарфом, концы которого заправляются за пояс, через плечо перекидывается на ремнях кобура с наганом: на случай неожиданной встречи с хозяином здешних мест,— белым медведем. На руках теплые меховые рукавицы. Зажигает огарок в ручном фонаре. Наблюдатель проходит по темному коридору, попадает в сени и выходит на улицу. Спавшая у порога, свернувшись пушистым клубком, белая собака, поднимает голову, виляет хвостом и вскакивает на ноги.

— Ну, Оленегон, пошли.

Оленегон радостно трется около ног, подпрыгивает, стараясь достать до лица, чтобы лизнуть своим горячим, красным языком.

— Довольно, паршивый чорт. Вперед! Вперед!

Вдвоем пробираемся узким коридором, образованным с одной стороны стеной дома, с другой — громадным сугробом такой же высоты как и дом; потом влезаем на другой сугроб, идущий уже прямо на крышу, сбегаем вниз и направляемся к небольшому холму, расположенному в ста метрах от дома. Там поставлены на высоких стойках белые метеорологические будки с приборами.

Оленегон по знакомой дороге бежит впереди в кругу желтого света, отбрасываемого ручным фонарем, укрепленным у меня на поясе.

Мороз довольно силен, — приходится натянуть шарф на кончик носа, который начал уже замерзать; края шарфа покрываются белым инеем. Начинается ветер, правда пока еще довольно слабый, но крайне неприятный при таком морозе. Наконец добрались до будок. В одной из них установлены термометры, из другой доносится двойное тикание часов: там стоят самописцы, приводимые в движение часовым механизмом, непрерывно отмечающие изменения температуры и влажности воздуха. Желтый свет фонаря скользит по будкам, по приборам. Все в порядке. Предварительный обход перед наблюдением окончен.

Быстро возвращаемся назад. Оленегон остается у дверей, а я захожу в дом. В теплой комнате можно пока обогреться. Записываю ветер, облачность и по длинной трубке барометра определяю давление воздуха. Надо снова итти на площадку, теперь уже для того, чтобы ровно в семь часов записать показания всех термометров. Опять зажигаю фонарь и мы вдвоем с Оленегоном повторяем тот же путь. Дойдя до будки, по часам смотрю время и ровно за тридцать секунд до семи часов поднимаюсь по небольшой лесенке к дверце будки, открываю ее и скользя светом фонаря по стеклянным трубкам термометров, отсчитываю десятые доли делений по узенькой полоске ртути. В несколько секунд эти отсчеты

закончены и записаны в книжку, а дальше надо отсчитать показания почвенных термометров, измерить выпавшие за ночь осадки и толщину снегового покрова. Зарисовываю облака, определяю видимость...

Оленегон смирно и терпеливо сидит около будок, поводя головой. Уши настороженно торчат — темнота ночи нервирует пса и он внимательно смотрит по сторонам — полярные собаки имеют очень слабое чутье и прекрасное зрение.

За десять-пятнадцать минут мои руки замерзают и я дважды оттираю их снегом.

Домой мы с Оленегоном уже не идем, а бежим, — я от холода, а он — думая, что я играю с ним.

Подбегая к крыльцу, вижу огонек в крайнем окне — повар проснулся и разводит плиту.

Как приятно после мороза попасть в теплый дом.

— Здорово, шеф. Давай скорей чаю.

— Замерз, дядя? Сколько градусов-то?

— Тридцать семь и пять,— бросаю я на ходу и спешу в свою комнату.

Через десять минут все наблюдения обработаны и результат записан в телеграмму в виде ряда цифр. Этот шифр расскажет в Москве дежурному синоптику Центрального бюро погоды все перемены, происшедшие за последние шесть часов и по нему воспроизведется в Москве вся картина нашей погоды.

Телеграмму несу в радиорубку: так называется на языке полярников аппаратная комната радиостанции. Она заставлена, похожими на изящные шкафчики, передатчиками. По стенам и по потолку проложены на причудливых, по форме, изоляторах медные толстые провода. На большом столе выстроились в ряд приемники: здесь и БЧЗ и ЭЧС, такие же, какие можно встретить во многих квартирах. Обстановка радиорубки дополняется большим диваном, на котором могут отдыхать в перерывах дежурные радисты.

Один из них уже сидит за своим столом с наушниками на ушах и слушает, когда его будет вызывать «соседний» Диксон. Радист бросает взгляд на телеграмму и спрашивает:

— Как мороз?

— Тридцать семь и пять. Ветер. Зюйд-вест четыре метра.

С этими словами выхожу из радиорубки — там не полагается быть посторонним лицам без дела.

В небольшой общей комнате, носящей название «салона» или «кают-компании», собрались почти все зимовщики за исключением радистов. Чаепитие в полном разгаре. Стол не блещет убранством, но утренняя закуска достаточно разнообразна и вкусна: сыр, колбаса, ветчина, масло и маринованные селедки. Теперь можно попить чаю. За столом идет оживленный спор о предельных скоростях парусных судов.

Спор прерывается поваром, который, появляясь в дверях кухни, задает вопрос:

— Кто сегодня дежурный?

— Мы с Бохманом,— отвечает биолог Тюлин.

— Ну так сегодня дров побольше надо,— говорит повар,— хлеб печь буду.

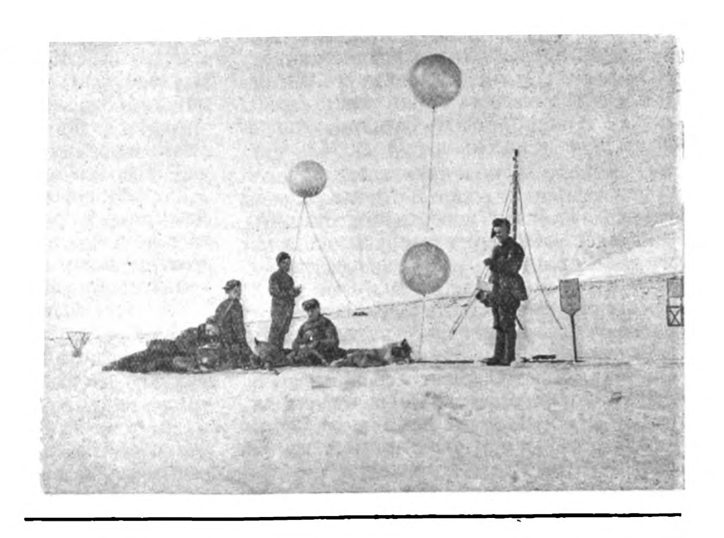
— Ладно, не беспокойся, через полчаса будут дрова.

Этот разговор напоминает всем, что трудовой день начался и надо браться за работу. Все расходятся по своим каютам и минут через десять вылезают оттуда одетые каждый по своему вкусу: — кто в оленьих малицах, кто в меховых, а кто просто в ватных куртках. На ногах у всех валенки, на головах меховые шапки, шарфами не пренебрегает никто: без них в момент можно отморозить лицо.

День станции оживился. Собаки вертятся около вышедших зимовщиков, некоторые стоят в очереди под окном кухни, ожидая подачки.

Служитель за окном гремит посудой, перемывая чашки и тарелки. Время от времени в фортку летят объедки. Шеф отправляется за углем, уголь в двух больших кучах лежит в пятидесяти метрах от станции на самом берегу. Плита пожирает каждый день четыре-пять ведер угля.

Дежурные Бохман и Тюлин, вооружившись лопатами, откапывают из-под снега большое бревно. Затем один из них остается колоть дрова, а другой, захватившп большие нарты, направляется к большому сугробу за баней. Этот сугроб служит источником питьевой воды. Изо дня в день выпиливают из него одноручной пилой большие кубические глыбы снега, которые подвозят затем к дому и перета-



Пуск зонда с метеорографом

Фото П. Ильяшевич

сымвают на руках в кухню, где снег набивается в три больших бочки. Здесь снег тает, часть его закладывается в коробку плиты для ускорения процесса таяния.

Сегодня мы решили сделать небольшую поездку на собаках за двенадцать километров от станции, чтобы привести мясо моржа, лежащего на берегу в соседней бухте, где его убили еще осенью. Вытащили ездовые нарты, расправили постромки и стали запрягать собак. У нас была так называемая веерная упряжка, которая обычно употребляется в западной части Арктики, на востоке же собак запрягают цугом. При веерной упряжке собаки ставятся в ряд шеренгой, каждой из них на грудь надевается широкая лямка, от которой идет длинный ремень, привязанный к передней перекладине нарт. На шее у каждой собаки надет узкий ошейничек из тонкого ремня, прикрепленный к тонкой цепочке, идущей от крайне правой собаки к крайней левой. Собака, бегущая с левого края, является вожаком, она направляет бег всей упряжки.

Мы, вдвоем с метеорологом Степанком, запрягаем собак, становимся рядом с нартами, и Степанок зычным голосом кричит:

— Вперед!

Собаки сразу снимаются с места и в карьер мчатся по снежной тундре. Бежим и мы и с разбега кидаемся на нарты. Наш вес не смущает собак,— только и слышны крики Степанка:

— Право, Тускуб! Лево, Тускуб!

Тускуб — имя вожака нашей упряжки. Это еще молодой, черный колымский пес, но очень умный и сообразительный. Он отлично понимает что от него требуют. При крике «право» он начинает всем своим туловищем поджимать всю упряжку вправо и тем самым заставляет ее завернуть в требуемом направлении. Бегущий на правом фланге старый разбойник Махно помогает Тускубу, отдергивая упряжку вправо. При команде «лево» отдергивать начинает Тускуб, а Махно подталкивает свору левым плечом. Средняя часть упряжки занята обычными рабочими собаками, большими и крепкими, причем некоторые из них, как например, Мунька и Лыско, ростом с сенбернара. Несмотря на свой рост, они добродушны и ласковы с людьми, рабски преданы им. Зато между собой у них вечные ссоры и драки.

Поднимаемся на гряду холмов. Бег замедлился. Степанок то и дело соскакивает с саней и, взмахивая длинным бичом, кричит на собак.

Степанок очень молод — он самый молодой среди нас. Уроженец Украины, судовой механик по профессии, он впервые в Арктике. Однако, Арктика пришлась по душе его широкой натуре — и он меч-

тает о второй зимовке. Высокого роста, наделенный громадной физической силой, он создан для здешней, суровой жизни. Собаки боятся его и при первых звуках громкого голоса боязливо прижимают уши и подбавляют ходу.

С вершин холмов начинается спуск к бухте Спартака — нарты летят теперь стрелой. Гладкая поверхность бухты не замедляет собачьего карьера и через час мы уже около черных туш моржей.

— Стой! Ляг! Ляг!

С этими словами Степанок вскакивает на ходу с нарт и падает на снег, натягивая поводок упряжки, — таким способом на севере тормозят собачий бег.

Собаки остановились, они тяжело дышат от быстрой езды. Длинные, красные языки повисли из полуоткрытых пастей. Пар клубами идет от упряжки. Псы жадно хватают ртами снег и едят его, утоляя свою жажду,— полярная собака воды почти никогда не видит.

Степанок кладет перед вожаком на снег кнут и Тускуб послушно садится — остановка будет долгая.

Мы рубим топорами твердое, как дерево, мерзлое мясо моржа и нагружаем им сани. В перерывах то и дело приходится оттирать замерзшие щеки и носы. Мороз подгоняет нас и сани быстро нагружены.

Обратный путь приходится делать пешком. Собаки не могут везти двойной груз. Хотя сани тяжелы, упряжка все же старается бежать карьером: ходить шагом в упряжке собаки не умеют. Мы держимся рукой за нарты и бежим наравне с собаками. От быстрого бега и сильного мороза трудно дышать и время от времени приходится останавливать собак, чтобы перевести дух.

Домой добираемся к завтраку. Уже двенадцать часов.

В час дня наблюдения на площадке производит Степанок, а я с аэрологом иду, пользуясь ясной погодой, пускать шар-пилот.

Мы возимся в маленькой деревянной будке с откидной крышей. Из чугунного баллона с водородом газ по длинному шлангу со свистом идет в резиновую оболочку шара, раздувая ее. В десять минут надут большой, в два метра в обхвате, шар. К нему прикрепляется желтый бумажный фонарик с огарком свечи, и все это взвешивается на весах. Вес шара нужен для дальнейших вычислений. Приходится вешать до грамма. Мелкие гирьки надо брать голой рукой, и холодный металл обжигает кожу.

Аэролог готовит теодолит для наблюдения за полетом шара.

— Ну, все готово.

Зажигаем фонарик и осторожно выпускаем шар из рук. Он стремительно взмывается вверх и моментально исчезает в темноте ночи, только огонек фонарика мелькает в виде желтой звездочки.

Аэролог ловит эту звездочку трубой теодолита, а я по часам стерегу минуту.

— Без пяти! — предупреждаю я ежеминутно наблюдателя,— и через пять секунд кричу:

— Отсчет!

Записываю по показаниям приборов углы, под которыми виден шар.

Так бежит минута за минутой. Наблюдения продолжаются минут тридцать-сорок, во время которых мы оба пляшем вокруг треножника теодолита, чтобы не замерзнуть окончательно.

Наконец аэролог начинает ругаться — значит шар виден уже плохо.

— Туманится! — Кричит мой товарищ и вскоре со злобой добавляет:

— Скрылся! — исчезновение шара всегда злит нашего нервного аэролога Петю.

После наблюдения прячем инструменты, закрываем крышу будки и идем в дом обрабатывать наблюдения.

В результате мы узнаем направление и скорость ветра на разных высотах. Наши шары добираются до 25—30 километров над землей и расширяют поле наблюдений над атмосферой: с этими шариками мы залезаем уже в стратосферу.

Остающееся до обеда время уходит на различные хозяйственные работы. Надо перетащить продукты из амбаров в кладовую при доме, просмотреть портящиеся продукты.

Время до четырех часов дня летит быстро, небо темнеет. Ночь снова владеет тундрой.

На льду пролива видны движущиеся точки — это возвращается со своими помощниками гидролог, работавший с утра на проливе.

Его работа тоже не сладка. Даже, может быть, хуже нашей.

Рубить двухметровый морской лед — дело трудное. Для работы надо продол-

бить прорубь, основанием с квадратный метр. Это значит надо выбрать киркой и ломом два кубометра льда. Около проруби поставлена легкая палатка. В ней ревут два примуса; в палатке жарко, как в бане. Гидрологи поминутно залезают туда поочереди погреть закоченевшие руки, мокрые от морской воды, которую с разных глубин вытаскивают специальным прибором — батометром. Вода разливается по бутылочкам — дома ее подвергнут химическому анализу. Вокруг лежат безучастные зрители-собаки, притащившие сюда нарты с гидрологическим снаряжением.

В «салоне» гремят тарелки — шеф накрывает на стол.

Сервировка стола довольно убога и разношерстна. Во время разгрузки наших вещей с ледокола, мы, среди массы привезенного груза, забыли выгрузить две бочки с посудой и теперь сильно стеснены. На двенадцать человек у нас осталось только десять глубоких тарелок, и шеф бережет их как зеницу ока. Каждая новая разбитая тарелка вызывает бурю негодования, и виновный получает металлическую миску.

Стол накрыт.

Гидрологи уже добрались до дома. Шеф ставит на стол большой бачок с супом.

— Обедать! — кричит он, стуча по столу разливательной ложкой.

Из кают вылезают один за другим проголодавшиеся зимовщики и усаживаются вокруг большого квадратного стола. Две керосиновых лампы, подвешенные над ним, достаточно ярко освещают комнату. Печь, протопленная каменным углем, пышет жаром.

Первые минуты обеда проходят в молчании. Но вот суп почти весь съеден и начинаются разговоры.

Обычно, сначала перекидываются впечатлениями сегодняшнего дня, а затем неизменно переходят на темы «большой земли» и почему-то, именно за обедом обязательно затрагивается «женский вопрос», один из самых щекотливых для двенадцати молодых здоровых мужчин. Полное отсутствие женщин развязывает языки. Как темы разговоров, так и употребляемые выражения не только не позволяют передавать их стенографически, но делают невозможным даже изложение их.

Начинает обычно Степанок, у которого неисчерпаемый запас воспоминаний и эпизодов из широкой, шумной жизни портов и городов на Черном море, где он плавал два года. Южные красавицы оставили ему много воспоминаний.

— Опять соленые разговоры! — ужасается начальник зимовки,— довольно об этом. Неужели нельзя говорить о чем-нибудь более содержательном.

— Обеденная тема,— брезгливо пожимает плечами доктор.

— Ваня, начни-ка очередной концерт, может быть эти саврасы уймутся!

Радист Ваня, на обязанности которого лежит заведывание музыкальными инструментами, еще до обеда приготовил десяток пластинок, составляющих программу сегодняшнего концерта, и теперь ставит одну из них на портативном патефоне.

Звуки веселого джаза Утесова наполняют кают-компанию. Утесов здесь почти общий любимец. Меньшинство предпочитает, наоборот, серьезную, классическую музыку, и Ваня старается составить программу, удовлетворяющую общим вкусам. Но, к сожалению, пластинок с серьезными вещами очень немного и колоссальный перевес имеют джазы и фокстроты всех оттенков: — «У далекого берега», «Мексико», «Монна-Лиза» и т. п.

Под музыку съедены второе и третье блюда.

Часто под конец обеда в кают-компании появляется дежурный радист с листочком белой бумаги в руках, и лица всех настораживаются.

Радист окидывает сидящих за столом хитрым взглядом и, выдержав паузу, спрашивает:

— Кто будет Тюлин!

— Давай,— протягивает руку Тюлин.

— А, давай; ты сначала попляши,— шутит радист и передает по принадлежности полученную радиограмму с «большой земли».

Остальные украдкой вздыхают.

Радиограммы — единственный способ сношения с родными и близкими, оставленными нами на целый год, а может быть и дольше.

Радиограммы ждут всегда с нетерпением, перечитывают по нескольку раз. Они вызывают воспоминания, ими делятся с близким товарищем — так приближаются к полярной станции, закинутой на

дальний север, поля и города «большой земли» Советов.

После обеда на станции на час воцаряется тишина — наступает мертвый час, — время отдыха прежде всего для повара, который с семи часов утра возился у плиты.

Тишина нарушается только монотонным треском бензинового двигателя в моторной, дающего энергию для радиостанции, и писком передатчика.

В узком, высоком, изящном шкапчике передатчика за решетчатой дверцой мигают большие лампы. Ключ под рукой радиста выстукивает в разнообразных сочетаниях тире и точки, точки и тире. Телеграмма за телеграммой несутся в эфир. Наша станция перебрасывает радиограммы от мыса Дежнева до Архангельска и навстречу этому потоку несется через короткий промежуток времени поток телеграмм из Архангельска на Тикси, острова Медвежьи, на дрейфующий «Челюскин», в Уэллен. Лаконические, проходящие по волнам эфира слова под опытной рукой радиста, выливаются в циркуляры, приказы, приветствия от друзей и знакомых, иногда в длинные корреспонденции, посылаемые в редакции газет. По ним трудящиеся Союза узнают о жизни среди снегов и льдов Арктики в маленьких домиках, разбросанных по всему протяжению Великого северного морского пути, удаленных друг от друга на сотни километров.

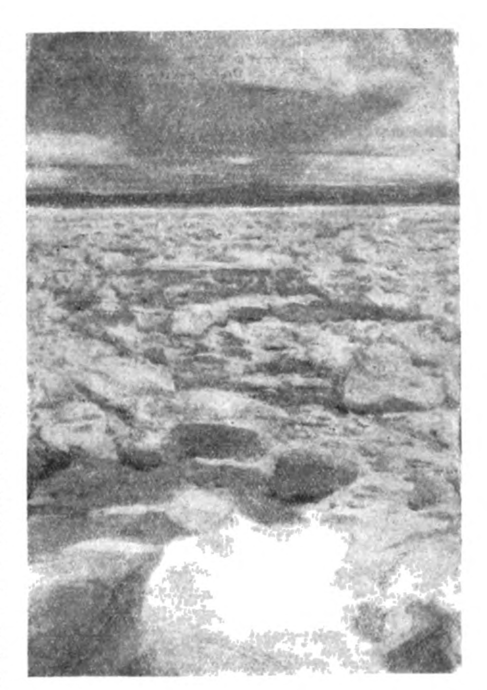
Замолчал и мотор, его пыхтенье не тревожит больше безмолвия тундры, сейчас радист слушает передачу коротковолновой станции в Москве.

Внезапно тишину прорывает злобный вой собаки. Этот вой тотчас подхватывают десятки других собачьих голосов. Молчавшая тундра оживает. Мгновенно оживает и дом. Люди срываются с коек, гремят сапогами, стучат о стену прикладами винтовок, щелкают затворами. По узкому коридору, чередом, десять человек вылетают наружу.

После светлых комнат глаз не сразу видит в темноте ночи.

Но уже нескольких секунд достаточно, чтобы различить стрелой несущихся к берегу пролива собак. Люди устремляются туда же. Несмотря на мороз, мы все полуодеты, но об этом некогда думать.

У берега за длинным рядом бочек с



Льды у берегов Чукотки **Фото Микоша**

бензином топчется на месте большой белый медведь. Он ошеломлен злобным лаем окружающей его собачьей стаи.

Гигантский властитель северных морей, он не знает врагов, не имея здесь, на севере, противника равного себе по силе. Беззаботно бродит он по льду, выискивая добычу. Еще утром панюхал он принесенный ветром незнакомый, но приятный запах и смело пошел навстречу ему. Этот запах привел его к нашей станции. Окруженный злобными псами, он сначала растерялся. Но вот Оленегон вцепился в бахрому густого меха на задней лапе. Как молния повернулся медведь, но Оленегон уже отскочил далеко в сторону и в ту же секунду на задних ляжках медведя повисло еще два пса. Медведь не выдержал, прорвал кольцо собак и стрелой помчался к торосам. С поразительной легкостью, которой не возможно было ожидать от этого грузного зверя, он взлетел на вершину тороса и застыл, высматривая дальнейший путь: эта остановка длилась несколько секунд, но они-то и погубили зверя. Ночную тем-

ногу прорвал блеск ружейных выстрелов, грянул залп, и медведь скатился с ледяной скалы. Правда, он тотчас же сел на задние лапы, но бежать уже не мог: пули перебили ему спинной хребет; щелкая зубами, поводя головой, он угрожающе замахивается на собак своими тяжелыми передними лапами, вооруженными гигантскими когтями. Собаки задыхаются от бешеной злобы.

Пора положить конец мучениям зверя. Трое из нас вскидывают винтовки к плечу, целясь в голову, и медведь падает мертвый.

Теперь уже надо отгонять от него собак, чтобы не пострадала роскошная зимняя шкура. Все собаки и двое из нас остаются у трупа, а остальные бегут на станцию за нартами. С большим трудом десять человек поднимают тушу медведя и переваливают ее на нарты. Ухватившись за веревки, мы тащим сани к дому. Выбрав за домом защищенное от ветра место, сваливаем убитого медведя с нарт, вытаскиваем ножи и начинаем снимать шкуру.

Механик проводит наружу провода, присоединяет лампочку и дает ток. При свете двухсотсвечовой лампы начинается разделка медведя.

Шкуру приходится сдирать голыми руками. Чтобы отогреться, частенько запускаешь руки в теплый жир медведя, толстым слоем покрывающий мясо. Люди тяжело дышат; ножи быстро мелькают, короткими взмахами подрезая жир у самой шкуры. Больше всего хлопот и мучений доставляют лапы: приходится перерезать суставы пальцев, ножи плохо берут плотные сухожилия. Мороз подстегивает работающих и через полчаса шкура снята. Красная дымящаяся туша с белыми прослойками изрезанного жира бесформенно лежит на снегу, затоптанном кровавыми следами. Четыре обрубка торчат кверху, и оскал страшных зубов заставляет смеяться окровавленную голую морду с выпученными белками глаз.

Вокруг плотным кольцом сидят все наши собаки, жадными глазами глядят на тушу в ожидании роскошного пира.

Мы тоже не прочь получить по хорошему сочному бифштексу.

Вспороть живот, выкинуть все внутренности—дело одной минуты. За длинную ленту кишок ухватился сразу десяток собак и они мчатся в разные стороны, растягивая бесконечный кишечник медведя. Более терпеливые остаются ждать лучшие куски.

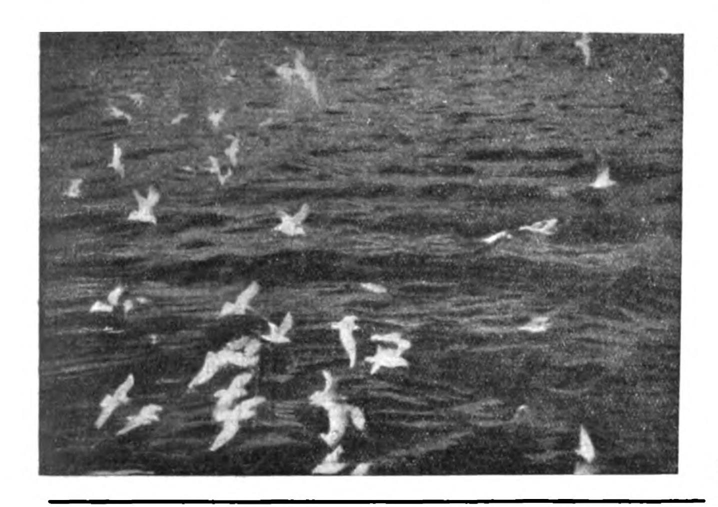
Наконец, туша медведя разделана и перенесена в сарай, а шкуру развешивают на стальном троссе, присоединяя ее к висевшим уже там шести предшественникам сегодняшнего незадачливого гостя.

Усталые, но довольные возвращаемся мы в дом. Недоволен только Петя. Он не любит такой простой охоты. Его охотничье честолюбие бывает удовлетворено лишь тогда, когда медведя удается настигнуть после часового состязания в беге. Петя быстро бегает и ему не трудно выдерживать бег по проливу на расстоянии двух километров.

Однажды с удивлением увидели, что наш Петя, ушедший утром вместе с биологом на охоту, бежит по проливу вдоль берега в километре от него. Сколько мы не всматривались, смотрели даже в бинокли, мы не могли понять кого преследует Петя; за ним тоже никто не гнался. Через два часа, запыхавшийся и усталый, Петя вернулся на станцию, ругаясь в ответ на все наши вопросы. Через несколько дней выяснилось, что ему показалось будто по проливу бежит медведь и он в течение часа мчался за воображаемым медведем. Такие привидения очень часто являлись наиболее ярым охотникам, к числу которых, кроме Пети, принадлежал и Степанок.

Последний час перед чаем на станции посвящается общим занятиям; чередуются занятия кружка немецкого языка и кружка политграмоты. Попеременно каждый день в кают-компании можно слышать, то неуверенную немецкую беседу, то чей-нибудь доклад на очередную тему о внутренней или внешней советской политике. К восьми часам эти занятия оканчиваются и все опять собираются за вечерним чаем. Вечерний чай еще более оживлен чем обед. Конец дня посвящен развлечениям и уж тут каждый развлекается, как умеет.

Механик овладел патефоном и накручивает одну пластинку за другой. Четверо уселись за карты и играют в «подкидного». Вторая четверка на другом конце стола играет в домино — забивают «козла». Костяшки домино, сделанные из тяжелой меди, со всего размаха хлопаются о стол. — грохот стоит невероятный. Не



Чайки над разводьем

Фото Микоша

менее усердно хлещут по столу и картежники.

Среди обоих групп вспыхивают споры.

— А где твоя шестерка, длинный чорт?

— Тише, Тюлин, не волнуйся. Шестерка не у меня, а у Пети. Никогда ее у меня и не было.

— Как не было? А под ногой у тебя что? Э, брат, жулить не годится? Не нравится карта, так под стол ее?

А на другом конце стола начальник зимовки в восторге от выигрыша отхватывает чечетку:

— Ах игрочишки, игрочишки, мазилы вы, а не игроки.

— Ладно, а кому вчера четырех козлов подряд вмазали, да еще сухих два?

Игра продолжается.

— Это вам не университет, тут надо головой думать, бросает кто-то одно из ходких замечаний, наиболее часто употребляющихся во время игры.

В одиннадцать часов вечера шум и музыка в кают-компании прекращаются, там остаются только желающие почитать или заняться чем-нибудь тихим, из кают доносится глухой говор укладывающихся спать зимовщиков.

Я выхожу наружу.

Стало немного теплее, но ветер усиливается и по тундре несется гонимый ветром снег—это поземка. К утру ветер усилится еще больше и поземка перейдет в метель, тогда всю станцию окутает белая пелена мчащегося снега, мелкого и сухого, слепящего глаз. Сквозь такую пелену метели уже в пяти шагах не видно освещенных окон станции. Стены станции дрожат под ударами ветра, мороз проникает во все щели и в доме становится холодно. Ветер разными голосами воет в печи, стучит толем на крыше, гудит в снастях радиомачты. Метель прерывает даже радиосвязь: в это время в приемнике слышен только оглушительный треск.

Но сейчас полярная ночь еще попрежнему хороша, как и вчера ночью, светит луна, отражаясь на снегу в тундре. Яркой зеленой дугой горит северное сияние, поверх этой дуги, протянувшейся с востока на запад, полыхает отливающая то зеленым, то розовым светом, колеблющаяся бахрома. Луна бледнеет и меркнет в этом молчаливом пожаре небес. Всю ночь будет продолжаться с короткими перерывами этот праздник огня. Он прекратится только тогда, когда низкие, серые, хмурые облака своей тяжелой завесой закроют арктическое небо.

Так день за днем идут полярные будни на северном форпосте, стоящем на страже завоеваний советской науки в суровой Арктике. Мы первые пионеры в этом пустынном, безлюдном краю на границе двух морей, по которым через льды и туманы пройдет Путь будущего,—Великий северный морской путь, о котором давно уже мечтали смелые мореплаватели и исследователи полярных стран.

ВЕСТИ, ИДУЩИЕ ИЗ СССР

Е. Гнедин

Каждый вечер, когда заканчивается советский день, по телеграфным проводам и по волнам радио идут в мир вести о том, как живет Советский Союз. Сведения об успехах социалистического строительства, о нашей внешней политике, о достижениях нашей культуры разрываются снарядами на белых листах буржуазных газет словно бомба во вражеском лагере.

Ночь на 2-е октября. Обычная ночь пролетарской столицы. Работают на окраинах гиганты-заводы. Кипит работа в шахтах метро. В самом центре столицы идет перестройка, сносятся старые здания, возникают новые, а вокруг спит громадный город. А над городом плывут радиоволны. ТАСС сообщает по радио в ночь на 2-е октября:

Игарка окончила экспорт леса, в далеком северном Игарском порту побывало двадцать восемь океанских пароходов.

Происходил традиционный пробег на двадцать восемь километров из Ленинграда в Детское село.

В Москве состоялись соревнования быстроходных глиссеров.

Новая железнодорожная ветка Уфа— Ишимбаево закончена.

В Петрозаводске обнаружено месторождение колчедана.

В Баку прибыла советская делегация, выехавшая на юбилей Фирдоуси.

И одновременно идет по телеграфным проводам официальная информация:

В Москву прибыл германский посол фон-Шуленбург.

В этих сведениях за один день отражается и международная мощь Советского Союза и ход социалистического строительства.

Сообщение о том, что председатель Совета народных комиссаров тов. Молотов принял турецкого посла Васыф-бея тотчас же отмечается во всех европейских столицах. Появляется во всей мировой печати и другая телеграмма, ушедшая из Москвы 2-го октября: «Советский Красный крест передал японскому 100 000 иен для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Японский красный крест ответил выражением бесконечной благодарности».

Два сообщения из Хабаровска: путевой сторож КВЖД предотвратил подготовленное крушение; через Манчжурскую границу переброшены двое граждан СССР, подвергавшихся пыткам в полицейских застенках.

Стокгольм, Анкара, Берлин, Лондон немедленно фиксируют эти сообщения.

И одновременно с этими сведениями, касающимися международного положения СССР, его борьбы за мир, по радио 2-го октября продолжает итти информация о нашей внутренней жизни:

> Ряд комиссий Академии наук переехал из Ленинграда в Москву.
>
> В Киеве открылась выставка «15 лет Красной армии».
>
> Академик Иоффе вылетел из Ленинграда в Англию на международную конференцию по атомной физике.
>
> Красноярск сообщает о мероприятиях по расширению воздушных сообщений на крайнем Севере. Удастся налетать 1042 летных часа против 300 часов за прошлую зиму.

А вот снаряд громадной силы, ушедший в мир из Москвы 2-го октября:

> По всему Советскому Союзу начались выборы в советы; в выборах участвует неслыханное число людей—90 миллионов избирателей; в выборах участвует все трудящееся население страны, достигшее восемнадцатилетнего возраста.

Эта весть приходит в страны, где царит фашистская диктатура, и рабочие, борющиеся против фашизма, узнают о развертывании пролетарской демократии в Советском Союзе. Эта весть приходит в буржуазные страны, где каждый день приносит новое доказательство банкротства буржуазного парламентаризма, она говорит широким массам, что большинство населения может стать хозяином

Второе октября. На Северной Земле — двадцатиградусный мороз... Союзфото

своей судьбы только в стране пролетарской диктатуры.

Как же откликается мир на этот день советской страны?

Трудно учесть все многообразные последствия, настроения, переживания, которые вызывает в лагере буржуазии и в стане рабочего класса информация о Советском Союзе. О них не пишут в газетах, они редко всплывают на поверхность общественной жизни, пока не проявляются в больших социальных сдвигах. Можно лишь наблюдать по газетам, как прислушивается мир к тому, что происходит в СССР.

Естественно, что особое внимание мировая печать уделяет внешней политике Советского Союза. Особенно внимательно фиксируется все происходящее на наших дальневосточных границах. За первые дни октября наблюдалось учащение конфликтов на советско-манчжурской границе. Параллельно с этим в отдельных пограничных с Советским Союзом странах зашевелились фашистские авантюристы и провокаторы. В частности, в Финляндии развернулась кампания против СССР. Этот факт немедленно привлекает внимание иностранной печати. Французская газета «Журналь де деба» пишет: «Каждый раз, когда советско-японские отношения переживают кризис, японские агенты проявляют особую активность на границах СССР». Это признание газеты, недружелюбно относящейся к СССР, но вынужденной констатировать факты.

В эти же дни, французский официоз «Тан» цитирует «Правду» от 2-го октября, стремясь уяснить отношение СССР к японо-китайским отношениям. И назавтра снова «Тан» цитирует «Правду», когда она вскрывает смысл брошюры японского военного министерства, в которой излагалась программа экспансии японского империализма. Каждое высказывание советской прессы по вопросам международной политики внимательно учитывается в редакциях буржуазных газет.

В борьбе буржуазной прессы против СССР и его мирной политики немалое место занимают провокационные выступления и хитрые интриги. Фашизированная немецкая газета «Берлинер тагеблатт» 2-го октября публикует статейку, в которой пытается посеять недоверие между Францией и СССР. Приводя критические замечания в «Известиях», относительно внутренней политики Думерга, немецкая газета пытается доказать французской буржуазии, что «на СССР нельзя положиться». Как-будто советская печать когда-либо отказывалась от марксистской, революционной оценки происходящих событий, и как-будто этим ослабляется тот факт, что сближение между СССР и Францией создаст барьер против фашистских военных планов.

Французский собрат «Берлинер тагеблатт», — реакционная газета «Матен», субсидируемая Детердингом, по-своему атакует мирную политику СССР. «Москва

руководит мировой революцией, не верьте речам Литвинова» — вот содержание развязной статейки, опубликованной «Матэн».

Но одновременно серьезные органы печати тщательно приглядываются к каждому внешнеполитическому шагу СССР, придавая громадное значение тому, на какую чашу весов положит Советский Союз свою сильную руку. «Тан» в этот же день анализирует отношение Советского Союза к происходящим без его участия переговорам о морских вооружениях.

Одновременно почти вся мировая печать продолжает комментировать вступление СССР в Лигу наций. Это событие в течение сентября и в начале октября составляет чуть ли не центральную тему всех международных обзоров, руководящих статей по внешней политике в буржуазной печати.

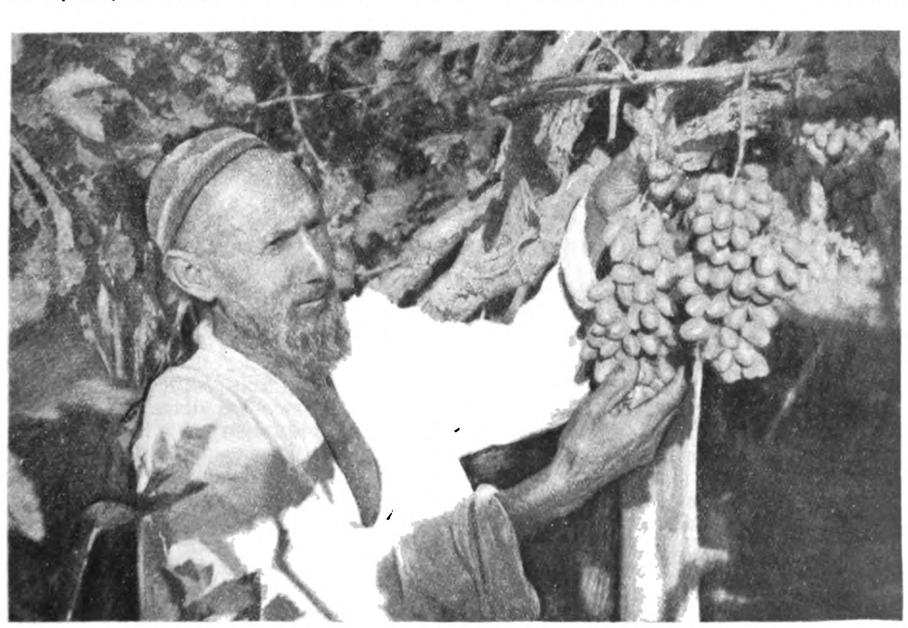
С громадным вниманием следит мировая печать за нашим внутренним развитием. Нет, пожалуй, ни одной маломальски крупной буржуазной газеты, которая не сообщила бы 2-го октября о начале избирательной кампании в советы, о числе участвующих в ней избирателей, о вопросах, обсуждающихся на выборных собраниях.

Советская действительность пробивает себе все более широкие пути к зарубежному читателю. От нее невозможно скрыться, ее не могут игнорировать даже самые злейшие враги.

Особенно остро, реагируют на победы Советского Союза те, кого Октябрьская революция выбросила за борт жизни — белоэмигранты. Их отношение к тому, что происходит в СССР — наиболее яркое, наиболее болезненное проявление страха и злобы, с которыми воспринимает буржуазия во всех странах вести из Советского Союза. Эти настроения находят свое отражение в статье одного из белоэмигрантских профессоров Тимашова, опубликованной в первых числах октября в белогвардейском листке «Возрождение».

Тимашов констатирует, что многие враги Советского Союза в своем отношении к СССР и даже в своих контрреволюционных планах «исходят из советской действительности». Тимашова пугает подобное легкомыслие. По его мне-

На Черноморском побережьи в этот день начинается массовый сбор винограда... Фото С. Струнникова



В Чакве второго октября заканчивается сбор чая...

Фото С. Струнникова

нию лозунг: «исходить из советской действительности» может иметь два смысла. Во-первых, можно основываться в своих расчетах на том состоянии, в каком находится советская страна, во-вторых, можно «программу и политический идеал по возможности приближать к тому, что сложилось в России при коммунизме». Нетрудно понять, что эмигрантский профессор отвергает с возмущением самую мысль о втором толковании разбираемого им лозунга. Нельзя и помыслить о сохранении, хотя бы приблизительно, того, что достигнуто в социалистическом Советском Союзе.

Но характерно, что и первое элементарное соображение о необходимости считаться с советской действительностью, как с **ф а к т о м** — приводит в ужас белого эмигранта. Он говорит: «Если даже ограничиться признанием советской действительности, как исходного момента в дальнейших действиях, то этого уже достаточно, чтобы оказаться в лапах коммунизма». В самом деле ведь может притти в голову сумасбродная мысль считаться **т о л ь к о** с советской действительностью. В этом случае все погибло, все чаяния белой эмиграции, все надежды на реставрацию, все дикие бредни о приостановке победоносного шествия социализма в СССР. Что же предлагает обломок империи? Надо — говорит он — признать старые основные законы Российской империи, надо исходить из того, что прошлое должно влиять на будущее. Но ведь советская действительность — это факт, как же его игнорировать? На этот вопрос белогвардейский профессор дает единственно возможный со своей точки зрения ответ. Он заявляет: «Надо обратить Советскую страну в расплавленное состояние».

Таков вывод контрреволюции. Единственное спасение от советской действительности — все уничтожить, все сжечь, все расплавить, чтобы не осталось ни следа от того, что достигнуто в СССР.

Но сколько бы ни мечтали наши враги о том, чтобы расплавить, сжечь сокровище социализма в огне контрреволюции, они не могут уйти от советской действительности. В той же газете, где напечатана отчаянная статья профессора Тимашова, мы видим информацию об СССР, пробивающуюся и на страницы белоэмигрантской прессы. Это, конечно, только обрывки сообщений, добирающихся даже в темные углы белой эмиграции. Мы читаем в «Возрождении» сообщение о том, что советское «Издательство художественной литературы» выпускает том неизданных сочинений Брюсова. Мы встречаем на страницах этой газеты, правда, «в препарированном виде», заявление тов. Винтера о работах Днепрогэса; перепечатывается из «Правды» за 2-е октября письмо из Самарканда, критикующее халатное отношение к памятникам старины.

... На Северной Земле приближается полярная ночь

Фото Ушакова

Пулеметная дробь различных фактов из советской действительности пробивает и белоэмигрантские блиндажи. Если мы откроем другую эмигрантскую газету за 2-е октября «Последние новости», мы найдем в ней информацию и о культурной революции, и о спросе на ширпотреб, и о классовой борьбе в деревне, о реставрации зданий в Ленинграде, систематизации архивов Палеха, о чествовании академика Павлова, о похвалах Красной армии со стороны итальянского генерала. Иронические замечания, беспомощные злопыхательства, которыми сопровождаются эти сообщения, не могут ослабить силы фактов. Не может помочь и бездарная клевета вроде сообщения из Риги, помещенного в «Последних новостях» 2-го октября: «В сентябре советская власть реквизировала в московских магазинах все драгоценные вещи».

Разве подобный хлам может послужить барьером против снарядов, идущих из СССР, против фактов советской действительности? Конечно, нет! Лучшей иллюстрацией беспомощности антисоветских клеветников является хотя бы то, что, публикуя клевету на СССР, газета одновременно настойчиво советует посетить собрание, посвященное... докладу о Первом съезде советских писателей.

Съезд советских писателей превратился в крупнейшее международное событие. Буржуазная печать уделила ему очень много внимания. Не будет преувеличением, если мы скажем, что Съезд советских писателей был освещен в ряде иностранных изданий подробнее, чем собрания писателей тех стран, в которых издаются эти буржуазные журналы.

Буквально в течение полугода после того, как состоялся съезд, на страницах буржуазной прессы продолжают появляться статьи, посвященные съезду советских писателей.

В эти дни октября крупнейший французский писатель Виктор Маргерит заявляет:

«Этот грандиозный съезд был больше чем блестящим доказательством активности и широты культурного воспитания в СССР. Это — событие мирового значения благодаря тому уроку, который дают его содержательные доклады и благодаря поучительности съезда в целом».

С этим выступлением Виктора Маргерита перекликаются и слова испанского писателя Рафаэля Альберти (газета «Лус»).

«Писатели и инженеры, ученые — все работают для величия Страны советов, и поэтому чувствуешь пульс культуры, эхо которого раздается далеко за пределами советской России». Но не только съезд советских писателей явился ин-

тернациональным событием. Многие события в области советской культуры воспринимаются за рубежом как факты международного значения. Наши кинофильмы показываются как одно из лучших достижений современного искусства. Передовые деятели искусства, художники и литераторы радуются успехам советских литературных произведений, советских фильмов, как будто они были участниками или соавторами. На территории СССР находят поприще для большой творческой работы те писатели и художники, которые не могли примириться с господством реакции фашизма.

Такова, например, судьба кинокартины, поставленной в СССР крупным немецким режиссером Пискатором. Как раз в первые дни октября в Москве шел кинофильм «Восстание рыбаков».

Для советского зрителя это было одно из многих интересных событий в области культурной жизни. Для наших иностранных друзей этот фильм явился знаменем, вокруг которого группируются представители революционного искусства. Немецкий писатель Оттвальт, писал в октябрьском номере журнала «Вельтбюне»:

«Значение этого фильма в том, что он был поставлен в Советском Союзе крупным немецким режиссером; о нем пишет немецкий писатель из Москвы; о нем узнают немцы во всем мире, и в тех далеких немецких городах, где этот фильм сегодня произвел бы особенно сильное и прекрасное впечатление».

Как бы сравнивая судьбу немецких рабочих, томящихся в фашистских казематах, с положением рабочих в СССР, Эрнст Оттвальт заканчивает свою статью о сделанном в СССР фильме описанием того кино, в котором он в Москве смотрел эту картину. Речь очевидно, идет о кино в Парке культуры и отдыха, и немецкий писатель тщательно описывает во всех подробностях внимание к рабочему зрителю, проявленное в организации этого кино.

Да, пульс советской культуры бьется все сильнее и сильнее. 2-го октября в Лондоне состоялся ежегодный банкет представителей торговли и банков. На этом собрании выступил британский министр финансов Невиль Чемберлен с большой политико-философской речью. И даже здесь, среди хозяев лондонского Сити пришлось заговорить об успехах советской культуры. Невиль Чемберлен, ссылаясь на одного из лидеров лейбористов Стаффорда Криппса, сказал, что из Москвы идут сведения, свидетельствующие, что там «царит атмосфера надежды». Невиль Чемберлен спрашивал зубров британского империализма, собравшихся на банкете: «Почему бы у нас не создать подобную атмосферу надежды?» — Возможно, что Чемберлен хотел вложить в этот вопрос долю иронии. Но он прозвучал, как горькая жалоба.

Вести, идущие из СССР, не могут создать «атмосферы надежды» на банкете купцов и банкиров. Но эти вести вызывают надежды у тех, кто еще вынужден работать на банкиров и фабрикантов.

«Благодаря существованию Советского Союза пролетариат старого мира ведет борьбу уже не за какую-нибудь абстрактную идею, а за прекрасную действительность»... И нашим лозунгом должно быть: «Руки прочь от Советского Союза!»

Эти слова взяты нами из статьи датского пролетарского писателя Андерсен Нексе, опубликованной все в тот же день 2-го октября, который дал нам уже такой разнообразный материал для характеристики международного влияния социалистического строительства.

Но и после 2-го октября история шагает вперед. Все новый и новый поток событий несется в будущее. Все прекраснее становится советская действительность, все внимательнее прислушивается к ее голосу мир, все новые удары потрясают буржуазное общество и решительнее авангард пролетариата борется за мировой Советский Союз.

Ответственный редактор М. Горький. Заведующий редакцией В. Бобрышев. Художник журнала Н. Барков.
Выпускающая Т. Кауфман. Адрес редакции: Москва, Спиридоновка, 2.

Уполн. Главлита В-2071. З. Т. 1132. Колич. знаков в п. л. 56 000. ОтАт БЗ—75×50 мм. Тираж 40.000 экз.
Сдано в набор 17/XII-34 г. Подписано к печати 4/III-35 г.
Издание выпущено в 39-й тип. Мособлполиграфа, Москва, ул. Скворцова-Степанова, 3.
Тифдручные работы выполнены в 7-й тип. Мособлполиграфа, Арбат, Филипповский, 13.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗ-ВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Седьмой год издания

Единственный в СССР
иллюстрированный журнал художественного очерка

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Под редакцией М. Горького

Во второй пятилетке СССР, ликвидировав капиталистические пережитки в экономике и сознании людей, станет страной социалистического бесклассового общества

Во второй пятилетке будет осуществлена новая грандиозная программа дальнейшего развития народного хозяйства, пролетариат полностью овладеет высокой техникой гигантов социалистической индустрии.

Во второй пятилетке СССР станет самой богатой страной в мире.

В 1935 году, вступая в седьмой год своего существования, журнал «НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ» мобилизует художественный очерк на борьбу за успешное выполнение задач третьего года второй пятилетки.

Февральски номер журнала в значительной своей части посвящен проблемам руководства, разработанным в очерках Миндлина, Старова, Иохведа, Сбитневой. Специально для этого номера директором металлургического завода имени Петровског тов. С. Бирманом написана статья о двух годах его работы на заводе

В 1935 году выйдут специальные номера „НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ“ о проблемах руководства, о культуре обслуживания масс, о борьбе за хлеб, о кустарной художественной промышленности, о бакинской нефти, об искусстве, о городах, о субтропиках и др.

Содержание

цена 1 р. 25 коп.